

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ

# АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ



Царство Зверя

Дмитрий Мережковский  
**Александр Первый**

«ВЕЧЕ»

1913

## **Мережковский Д. С.**

Александр Первый / Д. С. Мережковский — «ВЕЧЕ»,  
1913 — (Царство Зверя)

Александр Первый, великий российский самодержец, прозванный в народе Благословенным. Нелегкое бремя власти досталось ему в наследие от отца – несчастного императора Павла. Особенно тяжелы были последние годы царствования Александра. Этот период – наиболее яркий и сложный в отечественной истории. После победы над Наполеоном пришло время надежд, но очень быстро его сменило время тревог. Не все довольны политикой, которую ведет император, и в России появляются первые революционно настроенные тайные общества.

## Содержание

Об авторе	6
Часть первая	8
Глава первая	8
Глава вторая	12
Глава третья	22
Глава четвертая	28
Глава пятая	34
Глава шестая	41
Глава седьмая	46
Часть вторая	53
Глава первая	53
Глава вторая	65
Глава третья	75
Конец ознакомительного фрагмента.	77

# **Дмитрий Сергеевич Мережковский Александр Первый**

© ООО «Издательство «Вече», 2014

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Об авторе

Дмитрий Сергеевич Мережковский родился в Петербурге 2 (14) августа 1865 года в дворянской семье. Он рано увлекся литературой: стихи начал писать с 13 лет, подражая Пушкину; первое стихотворение опубликовал в 1880 году. Впоследствии многие его стихотворения были положены на музыку С.В. Рахманиновым, П.И. Чайковским, А.Г. Рубинштейном и другими композиторами.

Мережковский окончил классическую гимназию и историко-филологический факультет Петербургского университета. В студенческие годы увлекался философией, а также приобрел многочисленные знакомства в кругу столичных литераторов и деятелей культуры.

Весной 1888 года вышел сборник юношеских стихотворений Мережковского, принесший ему первую известность. Тогда же, по окончании университета, молодой литератор отправляется для поправки здоровья в путешествие по югу России и Кавказу. Здесь, в Боржоми, он познакомился с девятнадцатилетней поэтессой Зинаидой Гиппиус. В начале следующего года она стала женой Мережковского. Их семейный союз продлится до конца дней писателя. Они прожили вместе, как писала Гиппиус в своих мемуарах, «52 года, не разлучившись ни на один день». Писатель много путешествовал, подолгу жил в Италии. В 1893 году он начал писать трилогию «Христос и Антихрист», над которой работал 12 лет. Трилогия, состоящая из романов «Юлиан Отступник», «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», «Петр и Алексей», принесла автору европейскую известность, но в России эти книги пробивали дорогу к читателю с огромным трудом.

Религиозные искания Мережковского совпали с началом революции 1905–1907 гг., радикально повлиявшей на его мировоззрение. Впоследствии Мережковский станет одним из организаторов Религиозно-философского общества. Супруги (вместе с коллегой-единомышленником Д.В. Filosoфовым) уезжают в Париж, где публикуют сборник статей, посвященный религиозному значению русской революции.

В Париже Мережковский начал работу над новой трилогией «Царство зверя» о природе и сути русской монархии. Трилогию открывает драма «Павел Первый», публикация которой вызвала судебный процесс против автора. Следом появляются романы «Александр Первый» и «14 декабря». В «Александре Первом» на широком историческом фоне исследуется предыстория восстания декабристов. Автор критически относится как к офицерскому заговору, так и к русской монархии, которую он называет силой «демонической», «антихристовой».

К Первой мировой войне Мережковский отнесся отрицательно, как и к революционным событиям октября 1917 года. В 1919 году Мережковский и Гиппиус навсегда покидают родину, найдя приют в случайно купленной несколько лет назад парижской квартире. В эмиграции Мережковский продолжает много работать. Но основное место в его зарубежном творчестве заняли историко-культурные и историко-религиозные исследования. Известен писатель и как блестящий переводчик античных и европейских авторов. Умер Мережковский 9 декабря 1941 года в Париже.

### Избранные произведения Д.С. Мережковского

«Стихотворения. 1883–1887» (1888)

«Юлиан Отступник» (1895)

«Вечные спутники» (1897)

«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901)

- «Петр и Алексей» (1905)
- «Грядущий хам» (1905)
- «Павел Первый» (1908)
- «Александр Первый» (1911–1913)
- «14 декабря» (1918)
- «Мессия» (1927)
- «Наполеон» (1929)
- «Иисус Неизвестный» (1932)
- «Св. Франциск Ассизский» (1938)
- «Данте» (1939)

## Часть первая

### Глава первая

Очки погубили карьеру князя Валерьяна Михайловича Голицына.

– Поди-ка сюда, карбонар! За ушко да на солнышко. Расскажи, чего напроказил? Что за история с очками? А? Весь город говорит, а я и не знаю, – сказал, подставляя бритую щеку для поцелуя князю Валерьяну, дядя его, старичок лысенький, кругленький, катавшийся как шарик на коротеньких ножках, все лицо в мягких бабьих морщинах, какие бывают у старых актеров и царедворцев, – министр народного просвещения и обер-прокурор Синода, князь Александр Николаевич Голицын.

Когда князь Валерьян после двухлетнего отсутствия (он только что вернулся из чужих краев) вошел в министерскую приемную, большую мрачную комнату с окнами на Михайловский замок, так и пахло на него запахом прошлого, вечную скукою повторяющихся снов.

На том же месте опустилась под ним ослабевшая пружина в старом кожаном кресле. Так же на канцелярском зеленом сукне стола лежали запрещенные духовною цензурою книги; «О вреде грибов» – прочел он заглавие одной из них: грибы постная пища, догадался, нельзя сомневаться в их пользе. Теми же снимками со всех изображений Спасителя, какие только существуют на свете, увешены были стены приемной: лик Господень превращен в обойный узор. Так же рдела в глубине соседней комнаты-молельни темно-красная лампада в виде кровавого сердца; так же пахло застарелым, точно покойничьим, ладаном.

– Помилосердствуйте, дядюшка! Вы уже двадцатый меня об этом сегодня спрашиваете, – сказал князь Валерьян, глядя на старого князя из-под знаменитых очков с тонкою усмешкою на сухом, желчном и умном лице, напоминавшем лицо Грибоедова.

– Да ну же, ну, говори толком, в чем дело?

– Дело выеденного яйца не стоит. На вчерашнем дворцовом выходе в очках явился; отвык от здешних порядков: из памяти вон, что в присутствии особ высочайших ношение очков не дозволено...

– Поздравляю, племянничек! Камер-юнкер в очках! И свой карьер испортил, и меня, старика, подвел. Да еще в такую минуту...

– Из-за очков падение министерства, что ли?

– Не шути, мой друг, не доведут тебя до добра эти шутки...

– Что за шутки! Завтра к Аракчееву являться. Ежели в крепость или в тележку посадят с фельдъегерем, – только на вас и надеюсь, дядюшка!

– Не надейся, душа моя! Я от тебя отступился: советов не слушаешь, сам лезешь в петлю. Думаешь, не знает начальство, какая у вас каша заваривается? Все знает, мой милый, все. Погоди-ка, уж выведут вас на чистую воду, господа карбонары... А письмо-то, письмо? Это еще что такое? Откровенничать вздумал по почте? Уж если так приспичило, можно бы, чай, и с оказией...

В перехваченном тайной полицией и представленном государю письме князь Валерьян называл Аракчеева гадиной. Князь Александр Николаевич ненавидел Аракчеева, не кланялся с ним даже во дворце, в присутствии государя. Князь Валерьян знал, что за это письмо дядя готов простить ему многое.

– Я всегда полагал, ваше сиятельство, – проговорил он с еще более тонкой усмешкой на слегка побледневших губах, – что заглядывать в частные письма – все равно что у дверей подслушивать.

Старик зашикал, замахал руками.

– Если желаете, сударь, продолжать со мною знакомств, то извольте выбирать выражения ваши, – сказал он по-французски.

– Виноват, ваше сиятельство, но, право, мочи нет! Вся кровь в желчь превращается. Я понимаю, что можно здоровому человеку привыкнуть жить в желтом доме с сумасшедшими, но честному с подлецами в лакейской – нельзя.

– Вы очень изменились, мой милый, очень изменились, – покачал головою дядюшка. – И скажу прямо, не к лучшему, эти заграничные знакомства вам не впрок.

«Успели-таки донести, мерзавцы!» – подумал князь Валерьян. Заграничное знакомство был вольнодумный философ Чаадаев, с которым он сблизился во время своего пребывания в Париже.

– Я вижу, дорогой мой, вы все еще не можете освободиться от самого себя и обратиться в то ничто, которое едино способно творить волю Господню, – проговорил дядюшка и завел глаза к небу. – Как блудный сын, покинули вы отчий дом и рады питаться свиными рожками на полях иноплеменников.

«Свиные рожки – конституция», – догадался князь Валерьян.

Долго еще говорил дядюшка об Иисусе, сладчайшем, о совлечении ветхого Адама и воскрешении Лазаря, о состоянии Марии, долженствующем заменить состояние Марфы, о божественной росе и воздыханьях голубицы.

Князь Валерьян слушал с тоскою. «Тюлевый бы чепчик с рюшками тебе на лысину – и точь-в-точь Крюденерша-пророчица!» – думал он, глядя на старого князя.

– Всякая власть от Бога. Христианин и возмутитель против власти, от Бога установленной, есть совершенное противоречие, – кончил старик тем, чем кончались все подобные проповеди.

– А ведь я и забыл, ваше сиятельство, – успел наконец вставить князь Валерьян, – поручение от Марьи Антоновны...

Взял со стола сверток, развязал и подал, не без камер-юнкерской ловкости, шелковую подушечку – из тех, какие употреблялись для коленопреклонений во время молитвы, с вышитым католическим пламенеющим сердцем Иисусовым.

– Собственными ручками вышить изволили. Пусть, говорят, будет князю память о друге верном всегда, особенно же ныне, в претерпеваемых им безвинно гонениях.

– Ах, милая, милая! Вот истинная дочь Израиля! – умилился дядюшка. – Будешь у нее сегодня на концерте Вьельгорского?

– Буду.

– Ну, так скажи ей, что завтра же приеду расцеловать ручки.

В любовных ссорах государя с Марьей Антоновной Нарышкиной князь Александр Николаевич Голицын был всегдашним примирителем, за что злые языки называли его старою своднею. «Тридцатилетний друг царев, угождая плоти, миру и диаволу, князь всегда был заодно с царем в таких делах, о них же нельзя и глаголати», – обличал его архимандрит Фотий.

– И еще порученьце, дядюшка: узнать о министерских делах, о кознях врагов.

– Сам расскажу ей... А впрочем, вы, может быть, там больше нашего знаете? Ну-ка, что слышал? Рассказывай.

– Много ходит слухов. Говорят, министерства вашего дни сочтены; в заговоре будто отец Фотий с Аракчеевым..

– И с Магницким.

– Быть не может! Магницкий – сын о Христе возлюбленный... А ведь говорил я вам, дядюшка: берегитесь Магницкого. Шельма, каких свет не видал, – помесь курицы с гиеною.

– Как, как? Курицы с гиеною? Недурно. Ты иногда бываешь остроумен, мой милый...

– А помните, ваше сиятельство, как исцеляли бесноватого? – спросил князь Валерьян.  
– Да, представь себе, кто бы мог подумать? Мошенники... Ну да что Магницкий! Бог с ним. А вот отец Фотий, отец Фотий, – какой сюрприз!

Сбежал в кабинет и вернулся с двумя письмами.

– Читай.

«Ваше сиятельство, высококочтимый князь! Ты и я – как тело и душа. Сердце одно мы. Христос посреди нас есть и будет», – кончалось одно письмо, от Фотия.

Другое – черновик, ответ Голицына:

«Высокопреподобный отче Фотий! Свидания с вами жажду, как холодной воды в жаркий день. Орошаюсь слезами и прошу у Господа крыл голубиных, чтобы лететь к вам. Воистину Христос посреди нас».

– Ах, дядюшка, дядюшка, погубит вас доброе сердце! – едва удержался князь Валерьян от злорадного смеха.

– Бог милостив, мой друг! Сколько люди меня ни обманывают, а я в дураках не бывал. Так вот и нынче. Министерство отнять хотят. Да я радешенек! Только того и желаю, чтобы на свободе подумать о спасенье души..

Опять завел глаза к небу.

– У государя – вот у кого доброе сердце, – вздохнул с умилением. – Ну тот этим и пользуется...

«Тот» был Аракчеев: старый князь так ненавидел его, что никогда не называл по имени.

– Подойдет тихохонько, склонив голову набок, и пригорюнится: «Государь-батюшка, Ваше Величество, одолели меня, старика, немощи, увольте в отставку...»

Князь Валерьян взглянул на дядюшку и замер от удивления: мягкие бабьи морщины сделались жесткими, глаза потухли, щеки впали, лицо вытянулось – живой Аракчеев. Но исчезло видение, и опять сидел перед ним благочестивый проповедник; только где-то в самой глубине глаз искрилась шалость.

Вспомнился князю Валерьяну рассказ, слышанный от самого дядюшки, как однажды в юности, еще камер-пажом, побился он об заклад, что дернет за косу императора Павла I. И действительно, стоя за государевым стулом во время обеда, изловчился – дернул; государь обернулся. «Ваше Величество, коса покривилась, я исправил». – «А, спасибо, дружок!»

– Так-то, мой милый, – продолжал дядюшка. – Говоря между нами, это министерство просвещения у меня вот где! Сыт по горло. Не министерство, а гнездо демонское, которого очистить нельзя, – разве ангел с неба сойдет. Все училища – школы разврата. Новая философия изрыгнула адские лжемудрствования и уже стоит среди Европы с поднятым кинжалом. Кричат: науки, науки! А мы, христиане, знаем, что в злохудожную душу не внидет премудрость, ниже обитает в телеси, повинном греху. И что можно сделать доброго книгами? Все уже написано. Буква мертвит, а дух животворит... Я бы, мой друг, все книги сжег! – закончил он с тою же резвостью, с которой, должно быть, дергал императора за косу.

«Ах, шалун, шалун, – думал князь Валерьян. – Сколько зла наделал, а ведь вот невинен, как дитя новорожденное».

– Ты что на меня так уставился? Аль не по шерстке? Ничего, брат, стерпится, слюбится. Ты еще вернешься к нам...

Посмотрел на часы.

– В Синод пора, два архиерея ждут. Ну, Господь с тобой. Дай перекрещу. Вот так – теперь не бойся, ничего тебе тот не сделает. А право же, возвращайся-ка к нам, блудный сынок!

– Нет уж, дядюшка, куда мне? Горбатого разве могилка исправит.

– Не могилка, а девица Турчанинова.

– Какая девица?

– Не слышал? Удивительно. Исцеляет взглядом горбатых и глухонемых. Я собственными глазами видел сына генерала Толя, с одной ногой короче другой, и – представь себе! – через месяц ноги сравнялись. Силу эту уподобить можно помпе или – как это? – насосу, что ли, извлекающему из природы магнетизм животный... Сейчас некогда, потом расскажу. Хочешь к ней съездить?

– С удовольствием. Может быть, и меня выправит?

– А ты что думал? Богу все возможно. Или не веришь?

– Верю, дядюшка! А только знаете, что мне иногда в голову приходит: если бы Сам Христос стал творить чудеса и проповедовать на Адмиралтейской или Дворцовой площади, тут и до Пилата не дошло бы, а первый квартальный взял бы его на съезжую. И архиереи ваши не заступились бы...

«Ни вы, ни вы, ваше сиятельство!» – едва не сорвалось у него с языка – и, не дожидаясь ответа, выбежал из комнаты.

Старый князь только пожал плечами:

– Беспутная голова, а сердце доброе. Жаль, что скверно кончит!

## Глава вторая

Вскоре после Аустерлица появилось в иностранных газетах известие из Петербурга: «Госпожа Нарышкина победила всех своих соперниц. Государь был у нее в первый же день по своем возвращении из армии. Доселе связь была тайной – теперь же Нарышкина выставляет ее напоказ, и все перед ней на коленях. Эта открытая связь мучит императрицу».

Однажды на придворном балу государыня спросила Марью Антоновну об ее здоровье. – Не совсем хорошо, – ответила та, – я кажется беременна.

Обе знали от кого.

«Поведение вашего супруга возмутительно, особенно маленькие обеды с этой тварью, в собственном кабинете его, рядом с вами», – писала дочери своей, русской императрице, великая герцогиня Баденская. Шла речь о разводе.

Но за двадцать лет к этому все привыкли, и уже никто не удивлялся. Марья Антоновна была так хороша, что не хватало духа осудить ее любовника.

«Разиня рот, стоял я в театре перед ее ложей и преглупым образом дивился красоте ее, до того совершенной, что она казалась неестественной, невозможной», – вспоминал через много лет один из ее поклонников.

«Скажи ей, что она ангел, – писал Кутузов жене, – и что если я боготворю женщин, то для того только, что она – сего пола: а если б она мужчиной была, тогда бы все женщины были мне равнодушны».

Всех Аспазия милей  
Черными очей огнями,  
Грудью пышною своей.  
Она чувствует, вздыхает  
Нежная видна душа,  
И сама того не знает,  
Чем всех боле хороша, —

пел старик Державин.

Никто не удивлялся и тому, что у мужа Марьи Антоновны, Дмитрия Львовича Нарышкина, две должности: явная – обер-гофмейстера и тайная – «снисходительного мужа» или, как шутники говорили, «великого мастера масонской ложи рогоносцев».

Добродетельная императрица Мария Феодоровна писала добродетельной супруге Марье Антоновне: «Супруг ваш доставляет мне удовольствие, говоря о вас с чувствами такой любви, коей, полагаю, немногие жены подобно вам похвалиться могут».

Любовник, впрочем, был не менее снисходителен, чем муж. Однажды застал он Марью Антоновну врасплох со своим адъютантом Ожаровским. Но она сумела убедить государя, что ничего не было, и он поверил ей больше чем глазам своим. Следовали другие, бесчисленные, большею частью из молоденьких флигель-адъютантов.

Обе дочери государя от Елизаветы Алексеевны умерли в младенчестве. Первая дочь от Марьи Антоновны умерла тоже. Вторая, Софья, осталась в живых, но с детства была слаба грудью. Опасались чахотки. Этот последний и единственный ребенок, которого государь считал своим, о чем, однако, спорили, – маленькая Софочка – была его любимицей.

Благодаря дяде своему, старому другу дома, князь Валерьян Михайлович принят был у Нарышкиных как родной. Софья любила его как сестра. Он ее – больше, чем брат, хотя

сам того не знал. Надолго разлучались, – Софью часто увозили на юг, – как будто забывали друг друга, но сходились опять как родные.

– Лучшего жениха не надо для Софьи, – говорила Марья Антоновна.

Но на Веронском конгрессе государь представил ей другого жениха, графа Андрея Петровича Шувалова, только что зачисленного в коллегии иностранных дел, молодого дипломата меттерниховской школы.

Как все Шуваловы, граф Андрей был искателен, ловок и вкрадчив, втируша, тихоня, ласковый теленок, который двух маток сосет. Такие, впрочем, государю нравились.

Старая графиня, мать жениха, долго жившая в Италии, перешла в католичество. Римские отцы иезуиты начали свадьбу, а парижские шарлатаны кончили. Месмерово лечение тогда входило в моду. Принялись лечить и Софью. Граф Андрей магнетизировал ее, по предписанию ясновидящих. Пятнадцатилетняя девочка, почти ребенок, отдала ему руку свою, как отдала бы ее первому встречному, по воле отца, сама не зная, что делает.

Князь Валерьян, тоже бывший тогда в Вероне, только утратив Софью, понял, как ее любил. Он уехал в Париж к Чаадаеву. Беседы с мудрецом не утешили его, но дали надежду заменить любовь к женщине любовью к Богу и к отечеству.

Года через два, с дозволения ясновидящих, Софью привезли в Петербург, где назначена была свадьба. Зимой начались обычные среды у Нарышкиных, на Фонтанке, близ Аничкина моста.

Урожденная княжна Святополк-Четвертинская, Марья Антоновна была ревностной полькой и собирала вокруг себя польских патриотов. Уверяли, будто конституцией Польша обязана ей. И русские либералы видели в ней свою заступницу. Салон ее был единственным местом в Петербурге, где можно было говорить свободно не только о вреде взяток, но и о самом Аракчееве, которого она ненавидела.

По средам, в Великом посту, у Нарышкиных давались концерты. В ту среду, в которую собрался к ним князь Валерьян, в первый раз по возвращении своем в Петербург, назначен был концерт знаменитого музыканта-любителя графа Михаила Вьельгорского.

Когда князь Валерьян вошел в белый зал с колоннами и огромным, во всю стену зеркалом, отражавшим портрет юного императора Александра Павловича, первая половина концерта кончилась, и последний звук виолончели замер, как человеческое рыдание. Послышались рукоплескания, шум отодвигаемых стульев, шорох дамских платьев и жужжащий говор толпы. Раззолоченные арапы высоко подымали над головами гостей подносы с мороженым; поправляли восковые свечи в жирандолях.

Голицын увидал издали своего приятеля, лейб-гвардии полковника князя Сергея Трубецкого, директора Северной управы тайного общества, и хотел подойти к нему, чтобы переговорить окончательно о своем, уже почти решенном, поступлении в члены общества, но раздумал: решил – потом.

Опять, как давеча, в приемной у дядюшки, пахло на него знакомым запахом прошлого, вечною скукою повторяющихся снов.

Все так же, как два года назад: так же воскликнула, повторяя, видимо, заученную фразу, пожилая дама с голыми костлявыми плечами:

– Граф Михаил играет как ангелы на концертах у Господа Бога!

Так же склонился и шепчет что-то на ухо графине Елене Радзивилл отец Розавенна, иезуит, молодой, красивый итальянец, идол петербургских дам, похожий в своей шелковой черной сутане на черного, гладкого кота, который, выгнув спину, ласково мурлычет; нельзя понять, любезничает или исповедует; с одинаковым искусством передает любовные записочки и причащает из тайной дароносицы тут же, на великосветских раутах, своих поклонниц, новообращенных в католичество. «Ушком» прозвали графиню Елену за то, что она краснела не лицом, а одним из своих прелестных, как перламутровые раковинки, ушек. И теперь

под ласковый шепот отца Розавенны недаром у нее краснеет ушко: может быть, по примеру хорошенькой графини Куракиной, сожжет себе пальчик на свечке, чтобы уподобиться христианским мученицам. А девяностолетняя бабушка Архарова, в пунцовом халдейском тюрбане с ярко-зелеными перьями, нарумяненная, похожая на свою собственную моську, которая вечно храпит у нее на коленях, смотрит ехидно в лорнет на эту парочку – отца иезуита с графиней Ушком – и, должно быть, готовит злую сплетню.

На своем обычном месте, поближе к печке, сидит баснописец Крылов. Видно, как пришел – завалился в кресло, чтобы не вставать до самого ужина: «Спасибо хозяйшке-умнице, что место мое не занято; тут потеплее». В поношенном, просторном, как халат, фраке табачного цвета с медными пуговицами и потускневшей орденской звездой, эта огромная туша кажется необходимою мебелью. Руки уперлись в колени, потому что уже не сходятся на брюхе; рот слегка перекошен от бывшего два года назад удара: лицо жирное, белое, расплывшееся, как опара в квашне, ничего не выражающее, разве только – что жареного гуся с груздями за обедом объелся и ожидает поросенка под хреном к ужину, несмотря на Великий пост. «У меня, грешного, – говаривал, – по натуре своей желудок к посту неудобен». Дремлет, иногда приоткроет один глаз, посмотрит из-под нависшей брови, прислушается, усмехнется не без тонкого лукавства – и опять дремлет.

Не движась, я смотрю на суету мирскую  
И философствую сквозь сон.

А подойдет к нему сановник в золотом шитье: «Как ваше драгоценное, Иван Андреевич?» – и дремоты как не бывало, вскочит вдруг с косолапою ловкостью, легкостью медведя, под барабан танцующего на ярмарке, изогнется весь, рассыпаясь в учтивостях, – вот-вот в плечико его превосходительство чмокнет. Потом опять завалится – дремлет.

Так и пахло на Голицына от этой крыловской туши, как из печки, родным теплом, родным удушьем. Вспоминалось слово Пушкина: «Крылов – представитель русского духа, не ручаюсь, чтобы он отчасти не вонял; в старину наш народ назывался смерд». И в самом деле, здесь, в замороженном приличии большого света, в благоуханиях пармской фиалки и буке-а-ля-марешаль, эта отечественная непристойность напоминала запах рыбного садка у Пантелеймонского моста или гнилой капусты из погребов Пустого рынка.

– Давно ли, батюшка, из чужих краев? – поздоровался Крылов с Голицыным, проговорив это с такою ленью в голосе, что, видно было, его самого в чужие края калачом не заманишь.

– В старых-то зданиях, Иван Андреевич, всегда клопам вод, – продолжал начатый разговор князь Нелединский-Мелецкий, секретарь императрицы Марии Феодоровны, директор карточной экспедиции, маленький пузатенький старичок, похожий на старую бабу, – вот и в Зимнем дворце, и в Аничкином, и в Царском – клопов тьма-тьмущая, никак не выведут...

Почему-то всегда такие несветские разговоры заводились около Ивана Андреевича.

– Да и у нас, в Публичной библиотеке, клопов не оберешься, а здание-то новое. От книг, что ли? Книга, говорят, клопа родит, – заметил Крылов.

– Была у меня в Москве, у Харитонья, фатерка изрядненькая, – улыбнулся Нелединский приятному воспоминанию, – и светленько, и тепленько – словом, всем хорошо. А клопов такая пропасть, как нигде я не видывал. «Что это, – говорю хозяйскому приказчику, – какая у вас в доме нечисть?» А он: «Извольте, – говорит, – сударь, посмотреть – на стенке билет против клопов». Велел принести: какое-нибудь, думаю, средство или клоповщика местожительство. И что же, представьте себе, на билете написано: святому священномученику Дионисию Ареопагиту молитва!

– Н-да, точно, Ареопагит клопу изводчик, – проямлил Крылов, зевая и крестя рот. – Ежели который человек верит, то по вере ему и бывает...

– А меня почечуй, батюшки, замучил, – не расслышав, о чем говорят, зашамкал другой старичок, сенатор, дряхлый-предряхлый, с отвислой губой. – И еще маленькие вертижцы...

– Какие вертижцы? – спросил Нелединский с досадой.

– Вертижцы... когда голова кругом идет... Помню, во дни блаженной памяти Екатерины-матушки... – начал он и, как всегда, не кончил: его никто не слушал; со своим почечуем – геморроем он лез ко всем, даже, по рассеянности, к дамам.

– Опять разболтал! И какой тебя черт за язык дергает? – выговаривал князь Вяземский Александру Ивановичу Тургеневу. – Ну, можно ли такие письма в клубе показывать? Раз-благовестят по городу, попадет в тайную полицию – и поминай Сверчка как звали...

Голицын прислушался. Он знал, что Сверчок – арзамасское прозвище Пушкина. Вместе с Тургеневым и Вяземским случалось ему не раз хлопотать у дядюшки за ссыльного коллежского секретаря Пушкина.

– Слышали, князь? – обратился к нему Вяземский.

– Нет. Какое письмо?

– А вот какое, – зашептал ему Тургенев на ухо знаменитые строки, которые так часто повторял, что затвердил их наизусть. – «Ты хочешь знать, что я делаю. Беру уроки чистого афеизма. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная».

– Ну посудите сами, князь, неужели за такой вздор...

– Да ты где живешь, братец, на луне, что ли? – опять загорячился Вяземский. – Будто не знаешь, что нынче в России за какой угодно вздор...

– Ну не ворчи, полно, не буду... А Сверчок-то, говорят, опять в пух проигрался?

– Мало ли врут? Вот распустили намедни слух, будто застрелился.

– Ну нет, не застрелится, – усмехнулся Тургенев, – словечко-то его помнишь: «Только бы жить!» Кто другой, а Пушкин небось не застрелится...

Подошел хозяин, Дмитрий Львович Нарышкин; одетый по-старинному, в пудре, в чулках и башмаках с красными каблучками – настоящий маркиз Людовика XV; иногда судорога дергала лицо его, так что он язык высовывал, точно поддразнивал; но все же величествен, как старый петух, хотя и с продолбленной головой, а шагающий с важностью.

– А ваш-то пострел Пушкин опять пресмешные стишки сочинил, слышали? – сказал он, присоединяясь к собеседникам.

– А ну-ка, ну? – залюбопытствовал Тургенев и подставил ухо с жадностью.

По знаку Дмитрия Львовича головы сблизилась, и он прошептал с игривой улыбкой прошлого века:

Свобод хотели вы – свободы вам даны:

Из узких сделали широкие штаны.

– Да это не Пушкина! – рассмеялся Вяземский. – Сказал бы я вам стишки, да боюсь, не прогневались бы, ваше высокопревосходительство: уж очень вольные...

– Ничего, ничего, говори, князь, – ободрил его Дмитрий Львович. – Я вольные стишки люблю. Ведь и мы, сударь, небось в наше время наизусть Баркова знали...

Глядя на портрет государя с таким вольномысленным видом, как будто делал революцию, Вяземский прочел:

Воспитанный под барабаном.

Наш... был бравым капитаном,

Под Аустерлицем он бежал,  
В двенадцатом году – дрожал;  
Зато был фрунтовой профессор,  
Но фронт герою надоел;  
Теперь коллежский он ассессор  
По части иностранных дел.

Нарышкин тихонько захлопал в ладоши и высунул язык от удовольствия: был верно-подданный и сердечный друг царя, но недаром, видно, учился у Баркова вольномыслию.

– А доктор говорит, одышка от гречневой каши, – жаловался Нелединский Крылову. – И так я от этих удуший ослаб, так ослаб, что надо бы за мной приставить маму...

– А у меня все маленькие вертижцы... – зашамкал опять старичок.

– Плюнь-ка ты на докторов, князенька! – вдруг оживился Крылов, даже оба глаза раскрыл. – Возьми с меня пример: чуть задурит желудок – вдвое наемся, а там он себе как хочешь разведывайся. У Степаниды Петровны, на масленой, перед самым обедом, – рубцы и потрох у нее готовят ангельские, – так подвело, что хоть вон беги. Да вспомнил, что на Щукином – грузди отменные. Только что доложил о том, Степанида Петровна, матушка, сию ж минуту – пошли ей Господь здоровья, кормилице, – спосылала на Щукин верхом, и грузди поспели к жаркому. Принял я порцию, в шести груздях состоящую, и с тех пор свет увидел. А ты говоришь – доктора...

Вяземский вольнодумничал уже не в стихах, а в прозе, говорил о «затмении свыше», о цензурных неистовствах, которые дошли до того, что нельзя сказать «голая истина», потому что непристойно лицу женского пола являться голым; о запрещении Филаретова катехизиса; об изуверствах Магницкого, который предлагал разрушить до основания Казанский университет и заставил профессоров похоронить весь анатомический кабинет, трупы, скелеты и человеческих уродцев, потому что находил «мерзким и богопротивным употреблять человека, образ и подобие Божие, на анатомические препараты», вследствие чего заказаны были гробы, в коих поместили препараты и, по отпетии панихиды, в торжественном шествии понесли их на кладбище.

Слушая одним ухом Крылова, другим Вяземского, Голицын сравнивал обоих, и ему казалось, что пылающий свободомыслием Вяземский лопнет, как мыльный пузырь, а чугунный дедушка Крылов не поколеблется. «Неужели же это лицо – опара, из квашни расплзшаяся, – лицо всей России»? – думал он со смехом и ужасом.

Но перестал думать, увидя на другом конце залы Марью Антоновну с графом Шуваловым.

На ней – всегдашнее простое белое платье, туника с прямыми складками, как на древних изваяниях; старая мода, а на ней – новая, вечная; никаких украшений, только вместо пряжки на плече – камей-хризолит, подарок императрицы Жозефины, да гирлянда незабудок в черных волосах. Лет за сорок, а все еще пленительна. Сегодня – особенно. Не вторая, а двадцатая молодость. Глубокая ясность осенних закатов, душистая зрелость осенних плодов.

Всех Аспазия милей  
Черными очей огнями.

Сегодня – чернее, огненнее, чем когда-либо. «Минерва в час похоти» – назвал ее кто-то. Ресницы стыдливо опущены, и во всех движениях – тоже стыдливость, опущенность, как в томном трепете плакучих ив.

«Что с нею?» – удивлялся Голицын. Он знал ее хорошо, недаром был почти влюблен в нее когда-то; знал, что такой, как сегодня, она бывает всегда, когда меняет любовника. Кто ж теперь?

Вгляделся пристальней в Шувалова. Лицо красивое до наглости, как у Платона Зубова, героя «постельных услуг». По этому лицу хотелось верить ходившим о нем слухам, будто брал он деньги у старых женщин и отказался от поединка за дело чести. Безукоризненный английский фрак с преувеличенно узкой, по последней моде, талией; точеные ножки, затянутые в черный атлас; галстучек, завязанный небрежно, по-шатобриановски; хохолок, взбитый тщательно, по-меттерниховски. «А хорошо бы поддержать у барьера, под пистолетом эту смазливую рожицу!» – подумал Голицын с ненавистью.

И вдруг показалось ему, что на слишком ласковый блеск в глазах Марьи Антоновны глаза Шувалова ответили таким же блеском.

«Так вот кто! – промелькнула у Голицына мысль, которая ему самому показалась нелепой. – Мать – с женихом дочери!.. С ума я схожу, что ли?»

Насильно отвел глаза в другую сторону и увидел Софью. Она разговаривала с князем Трубецким. Для нее одной пришел сюда Голицын, но как будто испугался, – спрятался от нее за колонну, и по тому, как забилося у него сердце, как не хотел давеча говорить с Трубецким о тайном обществе, вдруг понял, что все еще не исполнил советов мудреца Чаадаева – не заменил любви к женщине любовью к отечеству.

– Принимая вещи даже в самой строгой скептике, должно, полагаю, согласиться, что в России не может быть хуже того, что есть, – заговорил князь Козловский, отвечая Вяземскому, в постепенно расширяющемся круге собеседников.

Козловский, бывший посланник в Сардинии, «за неосновательность поступков» от службы уволенный, был полуполяк, тайный католик и, по слухам, даже иезуит, но в то же время человек вольного образа мыслей в политике. Наружностью не то Бурбон, не то Фальстаф. Дородства не меньшего, чем дедушка Крылов, но живой, бойкий, подвижный. Когда говорил о политике, не только лицо его, но и вся тюленья туша трепетала, как будто искрилась умом. В такие минуты влюблялись в него даже молоденькие женщины.

– Освободили Европу, Россию возвеличили! С нами Бог! А у князя Меттерниха на посылках бегаем. Каланчой пожарной сделалась российская политика: стережем, не загорится ли где, и скачем, высуня язык, по всей Европе, с конгресса на конгресс, заливая чужие пожары собственной кровью. Революция здесь, революция там. Уж не ошиблись ли народы, низложив Бонапарта? Вместо одного великого тирана – сотни маленьких. Льва свалили и достались волкам на добычу...

– Зато, говорят, правление нынче законное, – поддразнил его Вяземский.

– Законное? Где? Видели, князь, на Литейном вывеску «Комиссия составления законов»? Буква «с» выпала: комиссия... оставления законов. Не вернее ли так? Не пора ли оставить законы? К чему они, когда скрижали их о первый камень самовластья разбиваются?..

Ударил жирным кулаком по жирной ладони с демократической яростью. Фальстаф превратился в Мирабо. А дамы слушали с такой же приятностью, как давеча Вьельгорского: второй концерт не хуже первого.

– Да, сударь, в России нет законов! – гремел Козловский, как с трибуны. – Указы, то от любимца-истопника исходящие, то от курляндца-берейтора, то от турка-брадобрея, то от Аракчеева, нельзя считать законами: это только право сильного, анархия, где лучше задушить, чем быть задушенным. Мы как Дон-Кишот действуем: освобождая других, сами стоим под ненавистным игом...

– Да за это, батюшка, на съезжую! – прошипела Архарова, и зеленые перья на пунцовом токе грозно заколебались, моська на ее коленях проснулась с ворчанием.

Крылов тоже проснулся, зашевелился с таким видом, что откуда-то сквозняк. А пан Вышковский, и пан Хлоповский, и пан Храповицкий, и пан Салтык хлопали в ладоши, как на Варшавском сейме: «Bravo! bravo! bravissimo!» Тургенев наклонил голову, загнув ухо ладонью руки, чтобы не пропустить ни слова, запомнить и разнести по городу. Вяземский наслаждался и завидовал. Ушко графини Елены пылало. О. Розавенна решил о Козловском по Жозефу де Местру «университетский Пугачев». Дмитрий Львович высовывал язык от восхищения, а Марья Антоновна улыбалась, как добрая хозяйка, радуясь, что гости довольны.

Голицын смотрел на Софью. Она тихонько подошла, присела на кончик стула, положила на колени худенькие детские ручки, – казалось, пальцы должны быть в чернилах, как у школьницы, – и, вытянув шею, никого не видя, вся замерла, недвижимая, устремленная, как стрела на тетиве. Глаза – ясновидящей. «Человек с нечистой совестью не мог бы в них смотреть», – сказал однажды Голицын об этих глазах. Вся не от мира сего; слишком хрупкая, тонкая, прозрачная; кажется, душа видна сквозь тело, как огонь сквозь алебастр: вот-вот не выдержат стенки лампы, огонь разобьет их и вырвется наружу.

Голицыну вспомнилось то, что он слышал о ней: как тринадцатилетняя девочка носила пояс, вываренный в соли, разъедавшей тело; стояла на солнце, пока кожа на лице не трескалась, хотела убежать в монастырь, принять пострижение и странствовать в мужской одежде, под именем умершего юного послушника Назария.

Для таких, как она, от слова до дела – только шаг. И теперь для нее одной в этой толпе речь Козловского – не музыка, а проповедь.

– Суровость покойного императора Павла, без обмана, без лести, не в тысячу ли раз сноснее того, что мы терпим в наши дни? – продолжал Козловский все вдохновеннее. – Не вздыхаем ли о временах Павловых, терпя, чего терпеть без подлости не можно? Всякий день оскорбляется у нас человечество, правосудие, просвещение – все, что мешает земле превратиться в пустыню или вертеп разбойничий. Когда видишь все мерзости, на каждом шагу в России совершающиеся, хочется бежать за тридевять земель...

Бабушка Архарова встала, гневная, собираясь уходить; моська на руках ее, поджав хвост, залаяла. Крылов тоже привстал, но, должно быть, вспомнив об ужине, снова опустился в кресло и только рукой махнул. У Нелединского сделалась одышка хуже, чем от гречневой каши. Старичок с вертижцами, казалось, готов был упасть в обморок. А паны повскакали и захолопали неистово – видно было по лицам их: «Еще Польша не згинела».

Но звук виолончели раздался – и все затихло, успокоилось, словно кто-то пролил масло на бурные волны.

Вьельгорский играл духовный концерт Гайдна. Слышался ангельский хор. И рабство, свобода, Россия, политика – все земное вдруг сделалось ничтожным. Казалось, по хрустальной лестнице, звенящей и поющей, как солнечный дождь, златокрылые, с золотыми ведрами восходят и нисходят ангелы.

Голицын подошел к Софье. Но она не заметила его, погруженная в мысли свои или музыку.

– Софья Дмитриевна...

Обернулась, вздрогнула.

– Вы... здесь? А я и не знала, Господи!..

Вся покраснела от радости. На вопрос его о здоровье ответила по-французски, совсем как большая светская барышня:

– Не надо о моем здоровье, ради Бога! Расскажите-ка лучше о ваших очках...

А глаза, полные детским восторгом, говорили другое, родное, милое, старое.

Несмотря на модную, сложную прическу, на парижское длинное платье попелинового серо-серебристого газа с вышитым зеленым вереском, – видно было по глазам, что она все та же маленькая девочка в коротеньком белом платьице, в соломенной шляпке-мармотке, голу-

боглазая, пепельно-кудряя, с которой он бегал в горелки в селе Покровском, подмосковной Нарышкиных, удил пескарей в пруду, за теплицами, и читал «Людмилу» Жуковского.

Ах, невеста, где твой милый,  
Где венчальный твой венец?  
Дом твой – гроб; жених – мертвец... —

прочла непонимающим детским голосом и вдруг задумалась, как будто поняла, – выронила книгу, побледнела, закинула ему тоненькие руки на шею и вся прижалась доверчиво: «Как страшно!..» Тогда в первый раз поцеловал он ее не как брат сестру.

О, не знай сих страшных снов  
Ты, моя Светлана!

Все та же, родная, любимая, вечная, Богом данная – сестра и невеста вместе. А Шувалов? Ну что ж, пусть Шувалов. «А ну ее к черту, эту парикмахерскую куклу!» Знал, что ее не отнимут у него сорок тысяч Шуваловых.

Отошли вместе на другой конец залы и сели рядом у большого зеркала, против портрета юного императора: семнадцатилетний улыбающийся мальчик похож был на голубоглазую, пепельно-кудряую девочку. Говорили шепотом, под музыку, под певучие звонки солнечного ливня, который лили на землю золотые ведра ангелов, восходящих и нисходящих по хрустальной лестнице. Чувствовали оба, что не говорили бы так, если б не музыка.

– Правда, что вы карбонаром сделались?

– Что значит «карбонар», Софья Дмитриевна?

– Какая Софья Дмитриевна? – поправила она с ребяческим кокетством в улыбке и строго ласкою в глазах. – Забыли Верону? Забыли Покровское? Забыли все?

– Ничего не забыл, Софочка... Ах, если б вы знали... Ну да что говорить? Вы же знаете...

– Что значит «карбонар»? – перебила она его, с детским усилием мысли сдвинув тонкие брови. – Карбонары – те, кто против Бога и царей? Мне еще намерен Михаил Евграфыч объяснить...

Михаил Евграфович Лобанов был Софьин учитель русского языка, ревностный поклонник Магницкого.

– А разве нельзя быть против царей с Богом? – усмехнулся Голицын.

– Не знаю, – задумалась она. – Нет, нельзя... у нас в России нельзя. Спросите нянюшку Прокофьевну, и Филатыча – дворецкого, и дедушку Власия, Покровского пчельника, – помните, он такой умный, – и самого дедушку Крылова, – он ведь тоже умница... Ну чего вы смеетесь? Я сказать не умею. Но это так: все скажут, что в России царь от Бога.

– А почему же правда, что все говорят? И разве одна Россия на свете?.. По-итальянски карбонары значит угольщики. Это простые добрые люди, которые в Бога веруют не меньше нашего и хотят свободы отечеству от чужеземного ига...

– Да разве у нас чужеземное иго?

– А слышали, что говорил Козловский?

– Козловский – поляк; они все ненавидят Россию, готовы сделать ей всякое зло. А ведь вы ее любите?

– Не знаю, люблю ли, но можно и любя ненавидеть. И чья вина, что наша любовь похожа на ненависть?.. Только лучше не надо об этом, милая, право, не надо... Посмотрите-ка на дедушку Крылова. Вот кто чужеземного ига не чувствует! Когда его спросили однажды, какое по-русски самое нежное слово, он ответил, не задумавшись: «кормилец

мой». Какая рожа, Господи! А умен, еще бы! Может быть, умнее нас всех... Только вот никак не решит:

Не больше ли вреда, чем пользы, от наук?

– Зачем вы? Не надо, не смейтесь.

– Да я не смеюсь, Софья! Мне страшно.

– Слушайте, Валя, голубчик, скажите, скажите мне все, что думаете! Со мной никто никогда не говорит об этом, а мне так нужно, если бы вы знали, так нужно!

– Что сказать?

– Все, все! Почему в России чужеземное иго? Почему любовь похожа на ненависть? Почему вам страшно?..

Он взглянул на нее и опять, как давеча, увидел в лице ее недвижную стремительность: стрела на тетиве, слишком натянутой. Понял, что от того, что скажет, будут зависеть их общие судьбы. Душа ее обнажена перед ним, незащищена, и, может быть, слова его пройдут ее, как меч: будут подобны убийству. Но нельзя молчать.

И он заговорил уже не под музыку, а против музыки: она – о небесном, он – о земном, о великой неправде земли, о человеческом рабстве.

Говорил о русских помещиках-извергах, которые раздают борзых щенят по деревням своим для прокормления грудью крестьянок, Не все ли мы эти щенки, а Россия раба, кормящая грудью щенят? Говорил о барине, который сек восьмилетнюю дворовую девочку до крови, а потом барыня приказывала ей слизывать языком кровь с пола. Не вся ли Россия эта девочка? О княгине-помещице, которая велела старосте отбирать каждый день по семи здоровых девок и присылать на господский двор; там надевали на них упряжь, впрягали в шарабан; молоденькая княжна садилась на козлы, рядом с собой сажала кучера, брала в руки вожжи, хлыст и отправлялась кататься; вернувшись домой, кричала: «Мама! Мама! Овса лошадям!» Мама выходила, приносили кульки орехов, пряников, конфет, насыпали в колоду и подгоняли девок; они должны были стоять у колоды и есть. Не все ли величие России, ее победоносное шествие – катанье на семерке баб?

Он говорил – и с жалобным звоном хрустальная лестница рушилась, и в черную пропасть падали ангелы. Он видел, как лицо Софьи бледнеет, но уже не мог остановиться; чувствовал восторг разрушения, насилия, убийства. Вечная правда земли – против вечной правды небес.

– Почему же государю не скажете? – прошептала Софья, когда он умолк. – Ведь не вы один так думаете?

– Не я один.

– Ну так вы должны сказать ему все...

Он взглянул на портрет государя, такой похожий на нее, – и вдруг ему обоим стало жалко, страшно за обоих. Но опять небесная музыка, опять хрустальная лестница – и восторг святого разрушения, святого насилия, святого убийства.

– А вы, Софья, почему государю не скажете?

– Разве он меня слушает? Я для него ребенок...

– Ну так и мы все ребята, щенята: сосем рабью грудь и пищим, а когда надоеет наш писк, удавят, как щенят...

Последний звук виолончели замер; последние осколки хрустальной лестницы рухнули – и наступило молчание, мрак; и во мраке – белое, жирное, как опара, из квашни расплзшаяся, – лицо Крылова – лицо всей рабьей земли: «Долго ли до поросенка под хреном?»

В лице Софьи было такое страдание, такой ужас, что Голицын сам ужаснулся тому, что сделал.

– Софочка, милая...

– Нет, оставьте, не надо, не надо, молчите! Потом... – проговорила она, еще больше бледнея; быстро встала и пошла от него. Он хотел было идти за ней, но почувствовал, что не надо, – лучше оставить одну. Ужаснулся. Но радость была сильнее, чем ужас; радость о том, что теперь любовь к Софье и любовь к свободе для него – уже одна любовь.

Захотелось играть, шалить, как школьнику. Подсел к дедушке Крылову и шепнул ему на ухо с таинственным видом:

– Все ли с огурцами, дедушка?

– Ну, ну, чего тебе? Каких огурцов? – покосился тот недоверчиво.

– Из вашей же басни, Иван Андреевич! Помните, «Огородник и философ»:

У Огородника взошло все и поспело,  
А Философ —  
Без огурцов.

Это ведь о нас, глупеньких. А вы, дедушка, умница – единственный в России философ с огурцами...

– Ну, ладно, ладно, брат, ступай-ка, не замай дедушку...

– А только как бы и вам без огурцов не остаться? – не унимался Голицын. – У дядюшки-то моего, в министерстве, знаете что? На баснописца Крылова донос...

И рассказал, немного преувеличивая, то, что действительно было. Филарет московский, составитель катехизиса, предлагал запретить большую часть басен Крылова за глумление над святыми, так как в этих баснях названы христианскими именами бессловесные животные: Медведь – Мишкой, козел – Васью, кошка – Машкой, а самое нечистое животное, свинья, – Февроньей.

Крылов остолбенел, вытаращил глаза, и рот у него перекосялся так, что казалось, вот-вот сделается с ним второй удар. Голицын уже и сам не рад был шутке своей.

Подошла Марья Антоновна и, когда узнала, в чем дело, рассмеялась:

– Крылышко, миленький, как же вы не видите, что он пугает вас нарочно? Никакого доноса нет, а если б и было что, разве мы вас в обиду дадим?

– Матушка!.. Марья Антоновна!.. Кормилица! – лепетал Крылов и целовал ее руки и готов был повалиться в ноги.

Долго еще не мог успокоиться, все крестился, чурался, отплевывался:

– Ахти, ахти... Грех-то какой!.. Февронья-Хавронья... А мне и невдомек. Господи. Матерь Царица Небесная!

Наконец позвали ужинать. Только войдя в столовую и увидев поросенка, который, оскалив мордочку, улынулся ему ласково, как внучек дедушке, Иван Андреевич успокоился окончательно, выпил рюмку водки, подвязал салфетку и опять воцарилась на лице его ясность невозмутимая:

А мне что говорить ни станут,  
Я буду все твердить свое,  
Что впереди – Бог весть, а что мое – мое.

Уходя от Нарышкиных, Голицын встретился на лестнице с князем Трубецким и сказал ему, что о своем поступлении в тайное общество завтра, после свидания с Аракчеевым, даст решительный ответ.

## Глава третья

«Милый друг Софа, сегодня я не приду к вам, как обещал. Я устал на заупокойной обедне и хотя ноге моей лучше, но она все-таки дает себя чувствовать. Штофреген говорил мне, что вы опять больны. Он жалуется, что вы недостаточно бережетесь. Если б вы знали, как это огорчает меня. Прошу вас, дитя мое, исполняйте советы медиков в точности: всякая неосторожность в здешнем климате может быть для вас пагубна. Будьте же умницей, слушайте докторов и лечитесь как следует. Только что выберу свободную минуту, приеду к вам и надеюсь видеть вас уже здоровой. Государыня целует вас. Медальон с ее портретом почти готов, я сам привезу его вам. Храни вас Бог.

*11 марта 1824 г.*

*С. Петербург»*

Это письмо государя, написанное по-французски, передала Софье старая няня Василиса Прокофьевна. Когда Софья прочла его, ей захотелось плакать.

– Ну хорошо, ступай, – проговорила она, едва удерживая слезы.

– Лекарство принять извольте, барышня!

С решительным видом Прокофьевна взяла склянку с лекарством и ложку.

– Не надо, оставь. Потом. Сама приму... Ступай же!

– Давеча не приняли и теперь не хотите!..

– Ах, няня, няня! Господи, какая несносная... Да ступай же, говорят тебе, ступай!.. – прикрикнула на нее Софья, и слезы детского упрямства, детской обиды задрожали в голосе.

Но старушка не уходила и, налив лекарство в ложку, продолжала ворчать:

– Доктор небось велел аккуратно, а вы что? И маменьке обещали, и папеньке...

Поднесла к самым губам ее ложку.

– Сейчас принять извольте.

Ложка дрожала в старых руках, вот-вот расплещется. Когда Софья представила себе, что проглотит мутно-желтую густую жидкость с отвратительно-знакомым вкусом, вкусом болезни, ей показалось, что ее стошнит. Склоненное над нею, с поджатым, ввалившимся ртом, сморщенное лицо старушки, назапамятно-родное, милое, все, до последней морщинки нежно любимое, вдруг сделалось ненавистным, тошным, как вкус лекарства. Ей казалось, что она больна не от болезни, а от няни, от мамы, от доктора, от Шувалова, от всех, кто к ней пристаёт, мучит ее. Злобно оттиснула протянутую руку. Ложка упала на пол, лекарство пролилось.

– Матерь Царица Небесная! – взахалась Прокофьевна. – Ковер залили! Ужо Филатыч увидит... Что же это такое, Господи? Что за ребенок! Ни лаской, ни сердцем! Погоди-ка, сударыня, вот ужо скажу папеньке...

«Какому папеньке?» – подумала Софья. Няня называла когда-то Дмитрия Львовича папенькой, теперь – государя, а прежнего папеньку – дяденькой или просто барином, его превосходительством; только иногда путалась и стыдилась. Разве она маленькая? Разве не знает всего? Чего ж стыдиться? Два так два.

Старушка вышла. Слава Богу, теперь можно подумать, поплакать. Но только что усе-лась поудобнее, поджала под себя ноги, закуталась в старенький нянин платок и начала думать – слышались старческие, шаркающие шаги. Прокофьевна вернулась с полотен-цем. Кряхтя, опустилась на колени, вытерла пол и опять начала наливать лекарство в ложку.

Софья вскочила, вырвала у нее склянку, бросила ее в камни – бутылка разбилась вдребезги, лекарство зашипело на горящих угольях, – и закричала, затопала:

– Вон! Вон! Вон!

– Воля ваша, Софья Дмитриевна, а только как заболете опять, сляжете – хуже будет. Бог вам судья, не жалете вы папеньку.

– И не жалею, и заболую, и слягу и умру, умру, подохну. И пусть. Так мне и нужно. Оставьте меня, оставьте! Ради Бога! Не мучьте. Не могу я больше не могу. Уходи же! Уходи! Уходи!

Бросилась лицом в подушку, зарыдала, худенькие плечи задергались от разрывающей судороги кашля.

Когда успокоилась и подняла лицо, няни уже не было в комнате. На носовом платке увидела привычное алое пятнышко. Надо будет спрятать от няни, от маменьки, от папеньки, от доктора, от всех. А то опять пойдут разговоры: кровью кашляет, на юг везти. А лучше умереть, чем уехать сейчас.

Жаль няню. За что обидела? Где-нибудь плачет теперь. Пойти помириться. Но когда встала – почувствовала, что ноги подкашиваются, в глазах темнеет. А может быть, это день такой темный? На дворе бесконечная мартовская оттепель с мокрым снегом.

Опять опустилась на диван, поближе к огню, уселась «какорою», как говорила няня, подобрала ноги, руками обняла колени, съежилась вся, сделалась маленькой, с головой закуталась в платок.

Перечла письмо, поцеловала то место, где сказано о государыне. Вспомнила свои редкие, словно запретные и влюбленные, встречи с нею – то в церкви, то во время прогулки на набережной, в Летнем саду или на Крестовском острове; вспомнила ее усталое, почти старое, но все еще прекрасное, не женское, а девичье лицо; благоуханную свежесть, как будто не духов от платья, а от нее самой, как от цветка, торопливые, словно тоже запретные и влюбленные, ласки; теплоту поцелуев и слез ее на лице своем и робкие взоры, которыми оглядывалась императрица, как будто боялась, чтобы их не увидели вместе; и почти безумный, жадный, страстный шепот: «Девочка моя милая, любишь ли ты меня хоть чуточку?» – и свой ответный такой же безумный, страстный шепот: «Люблю, маменька, маменька!» – и такое при этом счастье, какое бывает только во сне. Тогда, ребенком, сама не понимала, что говорит, потом поняла. Да, другая настоящая мать, как другой настоящий отец. Два отца, две матери. Но она ведь знает, что настоящая мать одна. Так почему же? Нет, лучше об этом не думать. Страшно.

Хотелось опять кашлять, но удерживалась, а то будет кровь; если много, то не спрячешь. Вспомнилась крошечная обезьянка Тинька, ее любимица, которая не вынесла петербургской зимы, простудилась, долго кашляла, дрожала от озноба, вся скорчившись и сидя тоже какорою, поближе к огню; глядела на всех жалкими детскими глазами, странно, поптичьим языком щелкала и, наконец, умерла от чахотки.

Тинькой ее прозвала няня, потому что несколько похожа была на эту обезьянку Софьиная француженка, мадам д'Агтиньи; няня звала ее тоже Тинькой, недолюбливала обеих – мартышку, похожую на черта, и мадам, похожую на ведьму. Ходили слухи, будто в ранней молодости, еще во время Великой революции, мадам д'Агтиньи была первосвященницей Авиньонского тайного общества, основанного графом Фаддеем Грабянкою, который занимался черной магией. Через него мадам д'Агтиньи, «великая мать богов, Геката, Диана, царица неба и ада, современная хаосу», как называли ее адепты, поступила гувернанткой к Нарышкиным. Умерла в глубокой старости; перед смертью впала в детство, сморщилась, ссохлась и сделалась еще больше похожа на обезьяну.

Всю ночь сегодня в бреду Софье снилась Тинька, не то мадама, не то мартышка: бегают будто, прыгают по комнате, языком щелкают: «Я – Геката, я – Диана, я – великая

матерь богов!» Потом вдруг вскочила ей на грудь, стала душить. Снилось также, что дедушка Крылов сечет маленькую девочку до крови и кричит ей: «Тинька, Тинька, слижи кровь языком!» – и девочка, ползая на карачках по полу, сморщивается, ссыхается, становится Тинькою и языком слизывает кровь. А потом – будто множество маленьких, черненьких полущенят-полумартышек присосалось к белым, толстым грудям бабы Ненилы, покровской скотницы. Вот и сейчас, кажется, забралась к ней Тинька под платок и холодной лапкой щекочет ей горло, так что хочется кашлять до крови.

Очнулась, с усилием открыла глаза; поняла, что бредит. Неужели и правда заболит, сляжет опять, как в прошлом году, до самого лета, – так и не увидит «настоящей маменьки»? Нет, вздор, не надо поддаваться болезни. Вот угрелась – и прошел озноб; только жарко, душно под платком. Скинула его, встала, подошла к окну.

Окно зеркальное, в полукруглом балконе-фонарике, выходящем на Фонтанку. Посмотрела в обе стороны, к Симсоновскому мосту и к Невскому: не промелькнет ли знакомая темно-синяя карета с бородатым кучером Ильею? Намедни тоже папенька писал, что не будет, а потом приехал.

Кареты не было, а тянулись похоронные дроги с маленьким гробиком, сосновым, белым, парчой не прикрытым; вместо парчи – серый мокрый снег. За гробиком шел старый, плешивый, красноносый чиновник в куцей шинелишке, похожей на женский салоп; шатался, как пьяный, не то от горя, не то от водки; крошечная девочка вела его за руку, должно быть, сестрица покойника. По ухабам и ямам раскачивались дроги так, что вот-вот гробик свалится в грязь.

Небо мутно-желтое с темно-серыми пятнами. И сыплется оттуда изморось – не то льдистый дождь, не то мокрый лед. Оттепельный, черный, страшный город похож на труп, с которого сорвали саван. И трупным запахом проникает мутно-желтый, удушливо-едкий туман сквозь окно в комнату, сжимает горло, саднит грудь так, что нечем дышать. А на другой стороне Фонтанки, на челе казенного здания, Екатерининского института, парит с распростертыми крыльями двуглавый орел. Над черной петербургской слякотью, над черным оголенным трупом кажется он зловещим и нелепо торжественным.

Опять подкосились ноги, потемнело в глазах. Оперлась о подножие бюста. Это был снимок с Торвальдсенова мрамора – изваяние императора Александра I.

Когда прошла темнота в глазах, взгляделась в мрамор. Он ей не нравился: родное лицо казалось чужим; напоминало виденных в музеях древних римских императоров; Траяна, Антонина, Марка Аврелия, та же печально-покорная, как бы вечерняя, ясность и благодать в чертах. Пухлые бритые щеки с ямочками; короткий, тупой, упрямый нос; плешивый крутой лоб; на лбу суровая, почти жестокая морщинка, а на извилистых, тонких, немного вдавленных, как будто старушечьих, губах – недвижно-любезная улыбка.

Взглянула, сравнивая, на висевший в той же комнате портрет императрицы Екатерины. Да, у обоих, у внучка и у бабушки, одна улыбка. Двусмысленно противоречие между этою слишком ласковой улыбкой губ и жестокой морщиною лба.

Вспомнилось, как, бывало, ребенком, когда долго не видала отца и соскучивалась по нем, – тайком от всех подходила к бюсту, взбиралась на стул, становилась на цыпочки и, закрыв глаза, целовала холодный мрамор, пока не теплел он, – как будто отвечал на ее поцелуй поцелуем.

Так и теперь прижалась к нему жаркой щекой. Но тотчас отняла ее: озноб пробежал по телу, как холод смерти; в мутно-желтом свете дня желтизна мрамора напоминала тело покойника. Слепыми белыми зрачками смотрела на нее страшная кукла с двусмысленной улыбкой.

Софья закрыла глаза, стараясь увидеть живое лицо его, но не могла. Сделалось так больно, что казалось, умрет, если не увидит его, живого, сейчас.

Внизу, у крыльца, послышался стук кареты. «Папенька! Папенька!» Бросилась к окну. Но это была карета Шувалова. Он вошел в подъезд. Неужели сюда, к ней? Прислушалась. По далекому хлопанию дверей поняла, что прошел к маменьке. Слава Богу!

Продолжала смотреть на улицу, все еще надеясь. Там гроыхали только телеги мясников, должно быть, с бойни; из-под мокрых рогож торчали окровавленные раскоряченные туши. Ей казалось, что она слышит запах сырого мяса, видит, как теплая красная кровь капает на черную грязь.

Зажмурила глаза, чтобы не видеть. С трудом волоча ноги, вернулась на диван у камина, повалилась в изнеможении, но не закрывала глаз, чтобы опять не начался бред, смотрела пристально сквозь открытые двери в соседнюю белую залу с колоннами, где вчера давался концерт. Почти против двери – большое зеркало, в котором отражался портрет юного императора. Из таинственной, зеркально-темной, как будто подводной, глубины улыбался ей все той же вечной двусмысленной улыбкой голубоглазый пепельнокудрый мальчик.

О чем уже давно хотела подумать? Да, о Шувалове и Голицыне. Почему граф Андрей, непонятный, ненужный, далекий, – ее жених, а не Валя, родной, близкий? Дурочкой была, когда согласилась: ничего не знала; теперь знает, что значит быть замужем.

В прошлом году в Париже, во время укладки вещей, – маменьки не было дома, – попала ей в руки маленькая золотообрезная книжечка в пергаменте, антверпенское издание с непристойными картинками. Долго рассматривала их, удивлялась, ужасалась, но не понимала. Вдруг поняла все или почти все; поняла, почему, много лет назад, когда раз нечаянно вошла в комнату, тогдашний маменькин друг, молодой генерал-адъютант Ожаровский, вскочил, испуганный, красный, растрепанный, похожий на непристойную картинку, и маменька на нее закричала, едва не прибила неизвестно за что; поняла, почему и другие бесчисленные маменькины друзья, чужие люди, становились как будто родными; сажали ее, Софочку, к себе на колени, ласкали, называли своею дочкою, а ей было скучно, страшно от этих ласк. Вспомнила рассказ в старинном московском «Журнале для милых»: как Аглантин и Аннушка купались вместе в речке, подобно Адонису и Венере; а потом, когда Аннушка горько о чем-то заплакала, Аглантин ее утешал: «Я тебя уверяю, мой друг, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное»...

Тогда, после тех антверпенских картинок, заболела от ужаса и отвращения к матери, к Шувалову, к себе, ко всем людям, ко всему миру. Один Валя казался ей чистым, и она была уверена, что он бы понял ее. «Натуральное наслаждение!» Если такова натура и Сам Бог устроил так, то она не хочет мира, не хочет Бога. Ей казалось, что она больна и, может быть, умрет – не от болезни, а от этого.

В соседней белой зале послышались приближающиеся голоса: Шувалов, маменька. Софья вскочила, чтобы убежать: не могла их видеть сейчас. Но вдруг остановилась, окаменела, глядя широко раскрытыми глазами в глубину зеркала. Опять бредит, что ли? Нет, слишком ясно видит то, что видит: Шувалов целует Марью Антоновну, и у обоих такие лица, как тогда, когда Софья вошла нечаянно в комнату, где Ожаровский делал что-то с маменькой. Непристойная картинка. Жених – с матерью. А голубоглазый мальчик улыбался им двусмысленной улыбкою.

С тихим стоном, протянув руки вперед, как будто защищаясь от привидения, Софья упала навзничь на диван. Все помутилось, поплыло в глазах ее, и сама она плыла, утопала в бездонной глубине.

Очнулась. Увидела над собой лицо матери и опять лишилась чувств.

Но матери уже не было в комнате, когда очнулась во второй раз, окончательно. Послышались шаркающие шаги Прокофьевны – и вдруг вблизи знакомый голос:

– Да скоро ли доктора?

– Папенька! Папенька!

Он обернул к ней лицо, испуганное, бледное, бросился к дивану, стал на колени и, наклонившись над ней, поцеловал ее в лоб.

– Ну слава Богу, слава Богу! – перекрестился. – Софочка, милая, вот напугала-то!..

Обвив ему шею руками, она вся прижималась к нему, цеплялась за него, как утопающая.

– Папенька! Папенька! Папенька!

Немного приподнялась, отстранилась и всего оглаживала, ощупывала, как будто желала убедиться, что это он. Да, он, живой, настоящий, не холодная мертвая кукла, не древний римский император, а живой, родной, теплый, настоящий папенька. Оглядывала, ощупывала, трогала пальцами. Вот пухлые бритые щеки с ямочками, с двумя полосками золотистых бакенов, и мягкий раздвоенный подбородок, и гладкий плешивый лоб с остатками белокурых вьющихся волос, начесанных кверху, и между нависшими бровями – морщинка, не гневная, а только грустная, жалкая; и жалкие, грустные, детские прозрачно-голубые глаза; и на губах, прелестно очерченных, юных, улыбка не лукавая, а пленительно-нежная, тоже детская, беспомощная. И сутулые плечи, немного наклоненные вперед; и тучный, но все еще стройный стан, затянутый в узкий темно-зеленый кавалергардский мундир с серебряными погонами; и стройные, словно изваянные, ноги в лакированных ботфортах с острыми кончиками. Да, весь родной, любимый, возлюбленный.

Опять прижалась к нему, полузакрыв глаза, улыбаясь.

– Ну вот видишь, дружок, не надо было вставать; доктор правду говорил: лежала бы – ничего бы не было...

– Да ничего и нет, папенька! Я совсем здорова. Маленький жар, пройдет.

– Ну где же здорова? Вон кашляешь, голова горячая, и руки как лед. Будь умницей, пойдем-ка, ляг: сейчас доктор придет.

– Зачем доктор? – заговорила она по-французски, изредка вставляя русские слова, как обыкновенно говорила с ним. – Я не буду больна, не буду кашлять. Только не уходите, рада Бога, не уходите! Не могу я без вас. Если бы вы знали, как страшно, как страшно...

– Да что тут было? Что такое? Скажи...

– Нет, не надо. Не говорите, не спрашивайте! Ничего не надо. Только бы так с вами долго, долго, всегда. И все хорошо будет, все пройдет. И никого не надо. Только вы и маменька... ох, нет, нет... не та, а другая, настоящая маменька...

Он думал, что она бредит, но, взглядевшись в лицо ее, понял, что это не бред.

– Что ты, дружок? Господь с тобой! Разве можно так о матери?..

– Не мать! Не мать! Не могу я больше, не могу, не хочу!.. Страшно, гадко... папенька, папенька, возьми меня отсюда! Разве не видишь, что я не могу...

Зарыдала и, бросившись к нему на шею, опять охватила его руками, уцепилась за него, как утопающая.

– Ну, полно же, полно, дружок! О чем ты? Ведь я же тебе обещал: когда выйду в отставку, уедем с тобой и будем вместе, всегда вместе...

– Да, папенька, ты обещал, помнишь? Только когда же, Господи?..

Заглянула ему в глаза пристально. Увидела, что он думает или сейчас думал о другом, о своем, – может быть, таком же страшном, как и то, что было с нею. О чем же? Вдруг вспомнила: 11 марта, годовщина смерти императора Павла I. Знала, какой это день для него; знала, что дедушка умер не своею смертью и что отец всегда об этом думает, мучается этим, хотя никогда ни с кем не говорит. Если и не знала всего, то угадывала. Сколько раз хотела заговорить, спросить, но не смела. И теперь не посмела; только повторила вслух:

– Одиннадцатое марта, одиннадцатое марта...

Он смотрел на нее так же пристально, как она, и по лицу его пробежала тень; появилось, как в мраморном лике, двусмысленное противоречие между слишком суровою морщиною лба и слишком ласковой улыбкою губ.

– Вы сегодня в церкви, папенька... заупокойная обедня длинная... устали, измучились?.. А тут еще я... И нога болит? Ведь болит, а?

– Нет, ничего.

– Ну, зачем приехали? Сидели бы дома... Нет, нет, нет, хорошо, что приехали! Ох, хорошо, Господи! Я бы тут умерла без тебя...

Он больше не спрашивал. Оба чувствовали, что между ними то, о чем нельзя говорить: лучше понимать и жалеть молча. Он был так же одинок и беспомощен, как она; так же за нее цеплялся, как утопающий. Одной рукой держал ее голову, другой – тихонько гладил волосы, – качал, баюкая.

Опять, улыбаясь, полузакрывает глаза, дышала все тише и тише, но заснуть боялась, чтобы не ушел во сне. И сквозь дремоту казалось ей, что в селе Покровском, у пруда, за теплицами, тринадцатилетняя девочка в коротеньком белом платьице вместе с братом – женихом возлюбленным – читает старую, страшную, милую сказку:

Кончен путь; ко мне, Людмила!  
Нам постель – темна могила,  
Завес – саван гробовой.  
Сладко спать в земле сырой...

– Папенька... Валенька... – шептала в полусне.

И кто – отец любимый, кто – жених возлюбленный, уже не могла отличить. Оба – одно. И любит вместе обоих.

## Глава четвертая

Свиданье с Аракчеевым было страшно князю Валерьяну Голицыну, хотя он и смеялся над этим свиданием.

Знал, что у государева любимца – белые листы бумаги, бланки за царскою подписью; он мог вписать в них что угодно: чины, ордена или заточение в крепость, ссылку, каторгу. Мог также оскорбить, ударить – и чем ему ответить?

«Я друг царя, – говаривал, – и на меня жаловаться можно только Богу».

Несколько лет назад прошел слух, будто сочинителя Пушкина высекли розгами в тайной полиции; лучшие друзья поэта передавали об этом с добродушной веселостью. «Может ли быть?» – сомневались одни. «Очень просто, – объясняли другие, – половица опускная, как на сцене люк, куда черти проваливаются; станешь на нее и до половины тела опустишься, а внизу, в подполье, с обеих сторон по голому телу розгами – чик, чик, чик. Поди-ка жалуйся!»

Да что поэт или камер-юнкер, когда великие князья трепетали перед змием. Преображенским офицером, стоя на карауле в Зимнем дворце, князь Валерьян увидел однажды, как Николай Павлович и Михаил Павлович, тогда еще совсем юные, сидя на подоконнике, ребячились, шалили с молодыми флигель-адъютантами; вдруг кто-то произнес шепотом: «Аракчеев!» – и великие князья, соскочив с подоконника, вытянулись, как солдаты, руки по швам.

Да, страшно; но под страхом – надежда.

Года два тому назад Голицын подал государю записку об освобождении крестьян и о конституции как о близком будущем, воле самого императора, с высоты престола объявленной.

О записке с тех пор ни слуху ни духу, как в воду канула. Да он уже и сам не верил в мечты свои, знал, что надеяться не на что; а все-таки надеялся: что если государь пожелает видеть его, – он скажет ему все – и тот поймет.

Вспоминал портрет юного императора: белые, в пудре, вьющиеся волосы, цвет кожи бледно-розовый, как отлив перламутра, темно-голубые глаза с поволокою, прелестная, как будто не совсем проснувшаяся улыбка детских губ. Похож на Софью, как брат на сестру.

Иногда Голицыну снилось это лицо, и не знал он, чье оно, – отца или дочери, – но во сне влюблен был в обоих вместе, как некогда влюблена была вся Россия в прекрасного отрока.

– Я желал бы видеть всюду республики: это единственная форма правления, сообразная с правами человечества, – говаривал государь с этой детскою улыбкою. А потом, после чугуевской бойни, где проводили людей сквозь строй по двенадцати тысяч раз, – плакал на груди Аракчеева: «Я знаю, чего это стоило твоему чувствительному сердцу!»

Отец Софьи и друг Аракчеева, республика и шпицрутены, ожидание чуда и ожидание розог – все смешалось, как в бреду, в мыслях Голицына. Чтобы отвязаться от них, лег спать.

Дурной сон приснился: похоронное шествие; в открытых гробах – скелеты и уродцы в банках со спиртом; все знакомые лица – старые приятели, члены тайного общества; он и сам плавает в спирту, похожий на бледную личинку, – гомункул в очках.

Проснувшись, долго не мог понять, что это было; наконец понял: профессора Казанского университета хоронили анатомический кабинет по предложению Магницкого.

Когда на следующий день, в назначенное время, к шести часам вечера, князь Валерьян вошел во флигель-адъютантскую комнату Зимнего дворца, находившиеся там генерал-адъютанты Уваров, Закревский, князь Меншиков, Орлов приветствовали его особенно ласково.

– За твоё здоровье, князенька, свечку пудовую; обругал подлеца как следует! – сказал, пожимая ему руку Меншиков.

– Воистину – *гадина!* – воскликнул Орлов.

– Змий! – добавил Закревский.

– Ну какой змий? Просто *ночанка!* – возразил Уваров и рассказал, как у одного мужика в Грузии нашли в платье засушенную летучую мышь, «ночанку», которую носил он при себе для того будто бы, чтобы извести колдовством Аракчеева; а тот засек его до смерти, приговаривая: «Буду я тебе сам ночанкою!» Так вот и для всей России ночанкою сделался.

– И неужели же никого не найдется, чтобы открыть государю глаза на этого изверга? – заключил Уваров.

Из приотворенной двери высунул голову с плоским, деревянным кукольным лицом адъютант Аракчеева, немец Клейнмихель.

– Пожалуйста, князь!

Голицын вошел в секретарскую, большую темную комнату с окнами на дворцовый двор.

У стола, крытого зеленым сукном, сидел Аракчеев. Перед ним стоял старый генерал, может быть, один из боевых генералов двенадцатого года, сподвижников Багратиона и Раевского в тех славных боях, в которых царский любимец не принимал участия «по слабости нервов». Слушая выговор, как школьник, виновато горбил он спину и вбирал голову в плечи; не видя лица его, – он стоял к нему спиной, – Голицын видел по гладкой и красной, как личико новорожденного, лысине, по вздувшейся над воротником сине-багровой складке шеи, что старик ни жив ни мертв.

– Не думаете ли вы, сударь, отлынять от службы, видя, что у меня камер-юнкерствовать не можно? – говорил Аракчеев гнусавым, ровным, тихим, почти шепотным голосом: нельзя говорить громко в покоях государевых. – Предписание за номером тысяча восемьсот семьдесят третьим, которое поставило будто бы вас в невозможность исполнять обязанность вашу в точности, совсем не требует от вашего превосходительства никаких невозможностей, коих, впрочем, по службе и быть не должно...

Видно было, что может говорить так, не переводя духа, не изменяя выражения лица и голоса, час, два, три – сколько угодно.

Голицыну случалось видеть Аракчеева; но теперь вглядывался он с особенным любопытством, как будто видел его в первый раз.

Лет за пятьдесят. Высок ростом, сутул, костляв, жилист. Поношенный артиллерийский темно-зеленый мундир; между двух верхних пуговиц – маленький, как образок, портрет покойного императора Павла I. Лицо – не военное, а чиновничье. Впалые бритые щеки, тонкие губы, толстый нос, слегка вздернутый и красноватый, как будто в вечном насморке. Ни ума, ни глупости, ни доброты, ни злобы – ничего в этом лице, кроме скуки. Полуоткрытые над мутными глазами веки делали его похожим на человека, который только что проснулся и сейчас опять заснет.

– Я люблю, чтобы все дела шли порядочно – скоро, но порядочно; а иные дела и скоро делать вредно. Все сие дано нам от Бога на рассуждение, ибо хорошее на свете не может быть без дурного, и всегда более дурного, чем хорошего...

За окном шел мокрый снег. В комнату вползали серые, как паутина, сумерки. И в серой паутине сумерек, в серой паутине слов была скука нездешняя, которой, должно быть, в гробах своих скачуют мертвые; страшно было от скуки.

Аракчеев кивнул головой в знак того, что аудиенция кончена. Пыхтя и отдуваясь, потный и красный, как из бани, генерал вышел из комнаты.

Голицын подошел к столу.

– Князя Александра Николаевича племянничек?

– Точно так, ваше сиятельство!

– Ну, князь, два дела к вам. Первое: за ношение очков в присутствии особ августейших государь повелел сделать вам замечание строжайшее. Второе – касательно записки вашей...

Подал ему бумагу, на которой большими буквами, красным карандашом, его, Аракчева, собственной рукой написано было с тремя ошибками в пяти словах: «Возвратить бумаги сии по ненадобию в оных».

– Вы уж на меня, старика, не погневайтесь, – посмотрел ему не в глаза, а в брови (никогда не смотрел собеседнику прямо в глаза), и лицо его вдруг сделалось ехидно-ласковым. – Я человек простой, неученый; как бедный новгородский дворянин, совершенно порусски воспитан; у дьячка учился грамоте, по Часослову; мудрено ли, что мало знаю? Вот и в записке вашей – при простом уме моем никак в толк не возьму – о какой конституции писано? Сколько лет на свете живши, о том не слыхал и полагал доселе, что у нас в России правление самодержавное...

Опять нескончаемая паутина слов; опять страшно, скучно нездешнею скукою.

Вдруг встал, перешел от стола к камину и поманил Голицына пальцем: не хотел, должно быть, чтобы адъютант слышал. Когда Голицын подошел, взял его за пуговицу и зашептал почти на ухо, еще ласковей, вкрадчивей:

– Я всегда, ваше сиятельство, в оном несчастлив, что обо мне дурно публика думает. Ну да ведь и то сказать, один умный человек спрашивал: сколько дураков нужно, чтобы составить публику? Посему и не весьма опасаясь санкт-петербургского праздноголагания: собака лает, ветер носит. Была бы совесть чиста... Вещица сия, изволите видеть, как называется?

– Экран, ваше сиятельство!

– Экран, да-с! Ну так вот и ваш покорный слуга все равно что экран; за моей спиной что ни делается, а моим лицом все покрывается. Валют на меня, как на мертвого. И ругают за все: Аракчеев – злодей, Аракчеев – изверг, Аракчеев – гадина. А вся-то вина моя, что никому не льщу, по прямому моему характеру, да волю государя императора исполняю в точности. Что велит, то и делаю. Хоть конституцию, хоть самую республику велит – сделаю... Мне что?

«А ведь не глуп, – удивился Голицын. – Только что ему от меня надо?»

– Вот и дядюшка ваш, князь Александр Николаевич, меня, старика, не жалует: а я зла никому не помню, по закону евангельскому: любите ненавидящих вас. И в тебе, голубчик, князь Валерьян Михайлович, уверен, что ты меня полюбишь, видя, что я с тобой обхожусь как истинный христианин...

Умолк – и веки, над мутными глазами полузакрытые, закрыл совсем, как будто забыл о собеседнике и, угревшись у камина, стоя задремал. Голицын тоже молчал, рассматривая лицо его вблизи; заметил неожиданную в этом лице странную, мягкую на раздвоенном подбородке ямочку и почему-то не мог отвести от нее глаз. Вспомнилось ему «чувствительное сердце» Аракчеева, которого пожалел государь после чугуевской бойни; вспомнилась также дворовая девка Настасья Минкина, которая в минуту нежности целовала Аракчеева, должно быть, в эту самую ямочку.

А тот вдруг медленно-медленно приоткрыл один глаз, как будто исподтишка подмигивая, и посмотрел опять не в глаза, а в брови.

– А что, князь, давно ли вы членом тайного общества?

– О каком тайном обществе, ваше сиятельство, говорить изволите? – ответил Голицын с таким спокойным недоумением, что сам себе удивился; но сердце у него упало, – подумал: «Начинается!»

– Не знаете? Ну а мы все знаем, все знаем, и не только о вас, но и о дядюшке...

– Дядюшка – в тайном обществе! – не удержался Голицын, и хотя спохватился тотчас, но было поздно.

– Что же так удивились, если ничего не знаете? А может, и знаете что, да забыли? А?

– Если бы и знал что, ваше сиятельство, то не мог бы ничего сказать, не быв подлецом и доносчиком! – ответил Голицын, бледнея уже не от страха, а от злобы.

– Ну, полно, князь, полно! Не хочешь, и не надо. Я ведь с тобой как отец говорю, тебе же добра желаю, чтобы сделать из тебя, по уму твоему, государю человека полезного. Очки – пустое, а ты на хорошем счету: по Веронскому конгрессу помнит тебя государь вместе с графом Шуваловым, женихом Софьи Дмитриевны, и всегда отзываться изволит милостиво. Сегодня – камер-юнкер, завтра – камергер. Ни за что я, дружок, тому не поверю, что есть такой на свете камер-юнкер, который не желал бы камергером сделаться... Подумай, князь, подумай хорошенечко. Утро вечера мудренее. Да приезжай-ка в Грузию – там потолкуем. Посети старика, милости просим, я очень желаю видеть ваше сиятельство у себя в Грузинской пустыне...

«Твоим вниманием не дорожу, подлец!» – вспомнился Голицыну рылеевский стих, когда к двум протянутым пальцам Аракчеева – знак редкой милости – прикоснулся он, чувствуя, что этою ласкою хуже, чем розгою, высечен.

Прием кончился. Клейнмихель ушел.

Аракчеев, подойдя на цыпочках, словно крадучись, к двери в первую из двух зал, которые отделяли секретарскую от кабинета государева, приотворил дверь осторожно и позвал шепотом:

– Ефимыч? А Ефимыч?

– Здесь, ваше сиятельство! – тем же осторожным шепотом ответил государев камердинер Мельников.

– Не звал государь?

– Никак нет.

– Никого не было?

– Никого.

Все так же крадучись, на цыпочках, прошли обе пустынные залы. Когда половица скрипнула под ногой Мельникова, Аракчеев замахал на него руками. Во всех движениях его была бесшумно-шуршащая мягкость летучей мыши – ночанки.

Остановившись у двери кабинета, затаив дыхание, как будто умирающий был там, за дверью, прислушались. Сперва, Мельников, потом Аракчеев наклонился привычно ловким движением к замочной скважине и приложил к ней глаз: государь сидел один, читая книгу. Переглянулись молча.

Опять вернулись в секретарскую.

– Проведи отца Фотия, чтоб никто не видал.

– Слушаю-с, ваше сиятельство!

– Князевой кареты с набережной не было?

– Не было.

– А с Эрмитажа?

– И оттуда не было. Везде люди поставлены: не пропустят.

– Смотри же: если что, сейчас доложи.

– Будьте покойны, ваше сиятельство!

– Да кучеру Илье скажи, не забудь: ежели государь на Фонтанку поедет – курьера ко мне на Литейную тотчас же.

На Фонтанку – значило к министру духовных дел князю Александру Николаевичу Голицыну.

Аракчеев вынул из кармана золотую табакерку и сунул в руку Мельникова. Тот не понял, открыл ее, понюхал с таким благоговением, как будто к мощам приложился, и хотел отдать.

– Возьми, Ефимыч, на память.

– Ваше сиятельство! И так милостями осыпан... Не знаю, как за вас Бога молить! – проговорил, целуя ему руку, Мельников.

– Смотри же, братец, чтоб все в аккурате было.

– Будьте покойны, ваше сиятельство!

Когда камердинер ушел, Аракчеев сел в кресло у камина и вынул из портфеля письмо.

«Любезный мой отец и благодетель, батюшка, ваше сиятельство! Нет вас – нет для меня веселья и утешенья, кроме слез: все плачу да плачу; воображаю, мой отец, что выходите из спальни и целуете меня за сюрприз. А подумаю, что вас нет, – так слезами и зальюсь. Если вы останетесь еще долго там один, то лучше уж прямо к вам на Литейную в тележке приеду, чем представлять вас каждую минуту с растерзанным сердцем. А у нас, батюшка, на мызе благополучно. Люди здоровы, а также скот и птицы. Только в молошнике разбил крышку фарфоровую Матюшка, и я его за то высекла; и Нефеда, и Финогена повара, по вашему, отец, приказу, также высекла хорошенечко. А Француженка и Осенняя Фаворитка отелились на прошлой неделе. В оранжерейных рамах стекла вставили. А соленой телятины две кадушки попортились; я людям на кухню сдала. Поберегите себя, душа моя, ради Христа! В сырую погоду не выходите. На молоденьких не заглядывайся, дружок. Часто в вас сомневаюсь, зная ваш карахтер непостоянный, но все вам прощаю, по любви моей: ежели мне вас не любить, то недостойна я и по земле ходить. Вашего сиятельства по гроб жизни своей слуга вечная, Настя. И за галстучек тоже целую».

Закрыв глаза, представил себе, как она целует его за галстук и в подбородок, в самую ямочку. Задремал: послышалась музыка ветра в *эоловой арфе* на одной из грузинских башен, и в этой музыке – баюкающий голос Настеньки: «Почивайте, батюшка, покойно – вашему слабому здоровью нужен покой...»

Вздрогнул, очнулся. Неровен час – пропустит Голицына.

Чтобы отогнать дремоту, принялся считать в уме, сколько нужно метелок для грузинской мызы: в кухню господскую по 2 в неделю – 104 штуки в год; в службы людские по 5 – 260 в год; в оранжереи, конюшни, флигеля – всего 1890 в год; на 5 лет – 9450, на 25–47 250.

Задача была слишком простая; придумал посложнее: сколько надо щебенки для шоссе-сейной дороги от Грузина до Чудова.

В каждой куче: в вышину – 3 аршина 7 вершков; в окружности – 6 аршин 13 вершков; по откосу – 4 аршина 9 вершков. Трудно было сосчитать в уме; взял клочок бумаги, карандашик обгрызенный и начал делать выкладки, ставя цифры как можно теснее, так, чтобы все уместилось на одном клочке: был скуп на бумагу.

Хорошо стало, тихо, спокойно, безгорестно-безрадостно, как в вечности.

Вдруг, в самой середине выкладок, когда расчет подходил уже к миллионам кубических вершков, приотворилась дверь из флигель-адъютантской.

– Ваше сиятельство, от его высочества, великого князя, – доложил Клейнмихель.

– Я тебе, чертов сын, говорил: в шею гони! – произнес Аракчеев, бросился на него, выругался нехорошим словом и поднял руку.

Клейнмихель не шелохнулся, подставляя бесчувствен-но-кукольное лицо свое: казалось, удар прозвучит по лицу, как по дереву.

Аракчеев опустил руку и только прибавил неистовым шепотом:

– Вон!

Вернулся в кресло у камина; но уже не мог продолжать счет: помешали; огорчился, почувствовал сердцебиение и расстройство нервов.

– О Бог мой, Бог мой! – тяжело вздыхал. – Минутки не дадут покоя...

Принял миндально-анисовых капель; отдохнул, успокоился и опять погрузился в выкладки.

Опять хорошо стало, тихо-тихо, безрадостно-безгорестно, как будто никогда ничего не было, нет и не будет, кроме совершенно тождественных, правильных, единообразных каменных куч, уходящих по обеим сторонам шоссе в бесконечную даль.

После свидания с Аракчеевым князь Валерьян поехал к своему приятелю, князю Сергею Петровичу Трубецкому, директору Северной управы тайного общества, объявил ему о своем решении поступить в члены общества и через несколько дней был принят.

## Глава пятая

«Прекрасная Юлия, вздыхая о возлюбленном своем Лиодоре, бродит кротчайшими шагами, бледная, унылая, с поникшей головой, в мрачной пустоте березовой рощи, где осенний Борей осыпает землю пожелтевшими листьями; картина осени вливает в состав растерзанного существа ее нечто мрачнейшее, нежели самая мрачная меланхолия...»

«Лиодор и Юлия, или Награжденная постоянность – сельская повесть». Бывало, во дни императора Павла, сидя под арестом на Гатчинской гауптвахте в долгие осенние вечера, от скуки читывал Александр Павлович такие же точно романы и повести. Потом уже было не до книг; иногда целые годы ничего, кроме газетных вырезок да военных реляций, в руки не брал. Но во время последней болезни опять пристрастился к чтению.

Чем романы скучнее, глупее, стариннее, тем успокоительней, как старые детские песенки. Пожелтевшие страницы шуршат, как пожелтевшие листья осени, и осенью пахнет от них – сладостно-унылым запахом прошлого – того, что было юностью и стало стариной почти незапамятной. Двадцать пять лет, а как будто два с половиной столетия – так все изменилось, так постарело все – постарел он сам.

«Прошла зима, и возлюбленный Лиодор вернулся к прекрасной Юлии, отдыхая, при корне черемух благоухающих, обоняли они весенние амбры. Кроткая луна плавала в эмальной гемисфере.

– Коль восхитителен феатр младых прелестей природы! – восклицала Юлия, в объятиях своего Лиодора, предаваясь живейшей томности.

– О, священная природа, – отвечивал Лиодор, – токмо в храме твоём человек добродетельный может существенно блаженствовать. Хотел бы я с чувствительностью прижать весь мир к моему меланхолическому сердцу, так же как прижимаю тебя, о Юлия!...»

Читал, сидя в покойном кресле и протянув больную ногу на подставку с мягким сафьянным валиком – устройство, придуманное государыней.

Рожистое воспаление на левой ноге была первая за всю его жизнь опасная болезнь. Язва доходила до берцовой кости, и врачи одно время опасались антонова огня. Теперь зажило все; но надо было беречься; нога все еще болела иногда, опухала после долгого стояния, как сегодня в церкви, во время заупокойной обедни. Сегодня – двадцать третья годовщина смерти императора Павла I: 11 марта 1801—11 марта 1824 года.

«Одной ногой в могиле», – усмехнулся он, глядя на свою протянутую ногу, той грустной усмешкой над самим собою, которая являлась у него в последнее время все чаще.

От слишком долгой неподвижности нога затекала, немела. Надо было переменить положение. Но встать, пошевелиться – лень.

В пять назначил себе приняться за работу; пробило пять, половина шестого, шесть, а он все откладывал.

Теперь, после болезни, часто находила на него эта лень, желание сидеть так целыми часами, не двигаясь, уставив глаза в одну точку, ничего не делая, ни о чем не думая, только чувствуя, что душа затекает, немеет, как отсиженная нога, и бегают в уме, как мурашки в теле, маленькие мысли, случайные слова, Бог весть когда и где слышанные, прилипшие к памяти, назойливые. Все одна и та же, бесконечно, однозвучно тикает да тикает в ушах, как маятник, глупая песенка. Один стих забыл, старался вспомнить и не мог; выходила бессмыслица:

Но на счастье прочно  
К розе, как нарочно,  
Привилась полынь.

Какая рифма на полынь? Простынь? пустынь? аминь? Нет, бессмыслица. Но чем бессмысленней, тем прилипчивей.

Или еще другое. Давеча, когда государыня советовала ему вместо скучных русских романов читать Вальтер Скотта, вспомнился ему анекдот Константина Павловича, большого любителя таких вздоров: как уездная барыня-старушка, слушая разговор о Вальтер Скотте, удивилась: «Конечно, господин Вольтер большой вольнодумец, но, право же, скотом нельзя его назвать». Вальтер Скотт, Вольтер скот, Вальтер Скотт, Вальтер скот – если повторять быстро, с ударением на первом слоге, выходит в самом деле похоже.

«А воспаление-то сделалось там, где нога уже болела раз», – подумал вдруг и вспомнил, как года три назад на кавалерийских маневрах шальная лошадь зашибла ему ударом копыта это самое место – берцовую кость левой ноги. Так и в душе больное место, кажется, совсем зажило, а потом вдруг опять заболит: ушиб на ушиб, рана на рану – хуже всего: может антонов огонь сделаться. Нет, не надо, не надо об этом; уж лучше – Вальтер Скотт, Вольтер скот.

Но на счастье прочно  
К розе, как нарочно.  
Привилась полынь.

Встал, потянулся и медленно-медленно, судорожно, до боли в скулах, зевнул. «Иногда бывает тяжелее зевать, чем плакать, – пришла ему давняя мысль, – кто знает, может быть, в аду – не плач и скрежет зубов, а только зевота, скука – вечность скуки?»

Часы опять пробили. «Который час? – Вечность». – Кто это сказал? Да, сумасшедший поэт Батюшков, – наемни Жуковский рассказывал... Час на час, вечность на вечность, рана на рану – 11 марта, 11 марта... Нет, не надо, не надо...»

Подошел к столу, сел, хотел начать работу; но заметил пыль на малахитовой чернильнице. Слугам не позволял сметать пыль со столов, чтоб не рылись в бумагах. Стер замшевой тряпочкой. Заметил также, что один из двух канделябров по обеим сторонам часов на камине снят. Нарушенный порядок в комнате мешал ему работать. Отыскивая недостающий канделябр, оглядывал комнату близорукими глазами в лорнет, старенький, простенький, черепаховый, всегда хранившийся за обшлагом рукава.

Кабинет был угловая зала окнами на Неву и Адмиралтейство. Ни резьбы, ни позолоты: серые голые стены; на потолке – темно-зеленою краской живопись в древнеримском вкусе: крылатые победы, трофеи, колесницы, всадники. Мебель красного лака, с бронзой, наполеоновской империи; при малейшем пятнышке или царапине заменялась новою; вся в чехлах, дешевеньких, бланжевых с розовыми полосками, три раза в год мытых. Паркет гладкий и скользкий, как лед. Большой письменный стол – в простенке между окнами, а посредине – столики маленькие, вроде ломберных, крытые зеленым сукном, как в канцеляриях; на каждом – дела особого ведомства, одинаковые чернильницы и одинаковые пачки гусиных перьев, очиненных заново: перо, употребленное раз, хотя бы только для подписи, заменялось новым; за этим следил камердинер Мельников, получавший три тысячи в год за чинку перьев. И под каждым столом одинаковый коврик, красный с голубыми разводами. Всюду чистые платки и замшевые тряпочки для сметания пыли. Два камина, один против другого, тоже одинаковые; бюст Паллады – на одном, бюст Юноны – на другом; часы с бронзовым Ахиллесом и часы с бронзовым Гектором; канделябры здесь и канделябры там. Все одинаково, правильно, соответственно, единообразно. «Я люблю единообразие во всем», – говорил Аракчеев и повторял государь.

Отыскал наконец канделябр на круглом шахматном столике в дальнем углу; отнес и поставил на место.

Вдруг вспомнил недостающий стих:

Но на счастье прочно  
Всяк надежду кинь:  
К розе, как нарочно,  
Привилась полынь.

Это удовлетворило его так же, как поставленный на место канделябр; теперь все в порядке. Опять сел за стол.

Перед ним лежали две записки члена Государственного совета адмирала Мордвинова – о смертной казни и о кнуте.

«Прошло более семидесяти лет, как смертная казнь отменена в России, – писал Мордвинов. – Восстановление оной казни в новоиздаваемом уголовном уставе, при царствовании императора Александра I, приводит меня в смущение и содрогание. Я не дерзаю и помыслить, что казнь сия, при благополучном Его Величества правлении, сделалась нужнее, нежели в то время, когда была отменена...»

«Да, нужнее, – подумал, – если будет суд над ними».

Сморщился, как от внезапной боли, поскорее отложил записку о казни и стал читать другую – о кнуте.

«С того знаменитого для человечества времени, когда все народы европейские отменили пытки, одна Россия сохранила у себя кнут, что дает повод народам иностранным заключать, что отечество наше находится еще в состоянии варварском. Кнут есть мучительное орудие, которое раздирает человеческое тело, отрывает мясо от костей, метает по воздуху брызги крови и потоками оной обливает тело; мучение лютейшее из всех известных, ибо все другие менее бывают продолжительны; тогда как для двадцати ударов кнута нужен целый час; при многочисленности же ударов мучение продолжается от восходящего до заходящего солнца».

Предлагалось «уничтожить навсегда кнут, орудие казни, несоответственной настоящей степени просвещения и благонравия русского народа».

Семь лет назад, по высочайшему повелению, предложено было Государственному совету уничтожить кнут; в семь лет ничего не сделано, и если опять предложить – пройдет еще семь лет, и ничего не сделают.

Не проще ли взять перо, обмакнуть в чернила и написать тут же, на полях записки: «Быть по сему»? Уж если нельзя и этого, то на что самодержавие? А вот нельзя. Быть по сему, быть по сему – и ничему не быть.

Что Аракчеев скажет? То, что уже говорил: «Доложу вам, батюшка: Мордвинов – пустой человек. Поговорю с ним, но наперед знаю, что ничего доброго не услышу». А старички сенаторы, столпы отечества, во всех углах зашушукают: «Нельзя России быть без кнута!» Если их послушать, то конец кнута – начало революции.

Вспомнил указ о снятии шлагбаумов, никому не нужных, кроме пьяных инвалидов, чтобы кланчить на водку с проезжих да срывать верхи с колясок. Указ готов был к подписи, но государь подумал и не подписал. «Как ни мудри, все будет по-старому», – говорит Аракчеев и прав. Стоит ли ворошить кучу?

«Покрасили бы комнату», – сказал кто-то баснописцу Крылову, увидев сальное от головы его пятно на стене. «Эх, братец, выведешь одно, будет другое. Не наклеишься».

Так и он: ни сальных, ни кровавых пятен уже не мечтает вывести; мечтал об отмене самодержавия – и вот не отменил шлагбаумов, не отменит кнута. «Как ни мудри, все будет по-старому».

Но верил же когда-то, что все будет по-новому. «Что бы ни говорили обо мне, я в душе республиканец и никогда не привыкну царствовать деспотом». Если не отрекся от самодержавия тотчас же, как вступил на престол, то только потому, что раньше хотел, даруя свободу России, произвести лучшую из всех революций – властью законною. Помешало Наполеоново нашествие. Но, по освобождении от врага внешнего, не вернулся ли к мысли об освобождении внутреннем? Что же такое Священный Союз, главное дело жизни его, как не последнее освобождение народов? Евангелие – вместо законов; власть Божия – вместо власти человеческой. Верил: когда все цари земные сложат венцы свои к ногам единого Царя Небесного, да будет Самодержцем народов христианских не кто иной, как Сам Христос, – тогда, наконец, совершится молитва Господня: да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе.

Да, верил и донныне верит. Но, как ни мудри, все будет по-старому.

«Болтовня безобидная, памятник пустой и звонкий», – говорил Меттерних о Священном Союзе.

Евангелие – Евангелием, а кнут – кнутом. Пусть же брызги крови по воздуху мечутся, мясо от костей отрывается, – в час двадцать ударов, в три минуты удар, – и так от восходящего до заходящего солнца. Может быть, и сейчас, пока он думает...

Но если не отменить, то хоть смягчить?.. Смягчить кнут? «Кнут на вате» – вспомнилось ему из доносов тайной полиции чье-то слово о нем. Любил подслушивать и собирать такие словечки – посыпать солью раны свои.

Вспомнил и то, как, приготавливаясь к речи о конституции на польском сейме, учился красивым движениям тела и выражениям лица, точно актер перед зеркалом, – и вдруг вошел адъютант. Теперь еще, вспоминая, краснеет. Когда потом называли Польскую конституцию «зеркальной», он знал почему.

«Господин Александр по природе своей великий актер, любитель красивых телодвижений», – говорила о нем Бабушка.

Неужели – так? Неужели все в нем – ложь, обман, красивое телодвижение, любование собой перед зеркалом? И последняя правда – то, что сейчас подступает к сердцу его тошнотой смертною, – презрение к себе?

Хоть бы – ужас; но ужаса нет, а только скука – вечность скуки, та зевота, которая хуже, чем плач и скрежет зубов.

А может быть, и лучше, покойнее так? Вернуться бы в кресло, усесться поудобнее, протянуть больную ногу на подушку и приняться опять за «Лиодора и Юлию»; или уставиться глазами в одну точку, ничего не делая, ни о чем не думая, пока душа опять не затечет, не онемеет, как отсиженная нога, и маленькие мысли в уме, как мурашки в теле, не забегают; «Вальтер Скотт, Вольтер скот»...

С неимоверным усилием встал, торопливо, как будто боясь, что не хватит решимости, подошел к столу в простенке между окнами, торопливо-торопливо отпер ящик и вынул бумаги.

То был донос генерала Бенкендорфа и его, государя, собственная записка о тайном обществе.

Донос подробнейший: вся история общества; его зарождение, развитие, разделение на две Управы: Северную в Петербурге и Южную в Тульчине, Василькове, Каменске; имена директоров и главных членов; цели: у Северных – ограничение монархии, у Южных – республика; способы действия: у одних – тайная проповедь, у других – военный бунт и революция с царубийством.

Легко было по этому доносу схватить всех заговорщиков и уничтожить заговор: протянуть руку и взять, как гнездо птенцов.

Четыре года назад был подан донос, и четыре года пролежал в столе нетронутый: прочел его, положил в ящик, запер на ключ и не вынимал с тех пор, как будто забыл. Ничего не сделал, никому не сказал. Бенкендорфа избегал, в глаза ему не смотрел, точно гневаясь, а тот не мог понять, за что немилость.

Как будто забыл – но не забывал. Как преступник, не думая о своем преступлении, чувствует его во сне и наяву; как неизлечимо больной, не думая о своей болезни, никогда ее не забывает, так не забывал и он за все эти четыре года ни на один день, ни на один час, ни на одну минуту.

Тогда же, при первом чтении, начал было составлять записку для себя самого, чтобы успокоить, отдалить и выяснить свои собственные слишком страшные, близкие и смутные мысли, а также для Аракчеева, которому хотел сказать все; тогда хотел, потом уже не мог. Но едва начал писать, как почувствовал, что нет сил: думать трудно, а говорить и писать невозможно.

Перечел донос и взглянул на первые слова неоконченной записки:

«Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия разлит или по крайней мере сильно уже разливается между войсками. Заражение умов генеральное...»

И еще в другом месте по-французски:

«Эти господа хотят меня застрашать; они обладают большими средствами: кого угодно могут возвысить или уничтожить. Дело идет об изыскании средств для борьбы с так называемым духом времени – духом сатанинским, распространяющим господство зла быстро и тайно, как в Европе, так и в России. Один только Спаситель может доставить это средство Своим божественным словом. Воззовем же к Нему из глубины наших сердец, да ниспошлет Он нам Духа Своего Святого. Карбонары рассеяны всюду. Но, с помощью Божественного Промысла, я буду посредником для ограждения Европы, а следовательно, и России от язвы революции...»

И теперь, так же как тогда, почувствовал, что продолжать записку нет сил. Надо терпеть, молчать, скрывать от всех эту страшную и постыдную язву.

Он знал, что делает; знал, что ни дня, ни часа, ни минуты медлить нельзя; что за эти четыре года заговор неизмеримо усилился; что он, бездействуя, потворствует злу, губит Россию и за это даст ответ Богу, – все знал и ничего не делал.

И чем утешал себя, чем оправдывал?

Всегда носил в кармане записную книжку, подарок князя Меттерниха, главного советника своего в борьбе с революцией; на первой странице – вместо заглавия: *Не давать ходу* – и далее в азбучном порядке – список лиц подозрительных в Европе и в России. Меттерних начал, Александр продолжал. Когда представляли ему новое лицо, справлялся о нем по Сибиллиной книге, как называла ее Марья Антоновна, и если находил имя – не давал ходу, преследовал тайно или явно. Были в списках и члены тайного общества; за четыре года много имен прибавилось, которых в доносе Бенкендорфа не было. И вот чем утешался: «Все они, – думал, – у меня в руках, когда наступит время, уничтожу всех».

Так и теперь попробовал утешиться: достал из кармана книжку, перечел список; на букву «Г» прибавил: «Камер-юнкер Голицын – в очках».

«Вот бы с кем поговорить. Он Софьин друг; не может быть и мне врагом. Обличить, пристыдить, довести до раскаяния. Сначала его, а потом и других. Кто знает, может быть, преувеличено? Никакого заговора нет, а только детская шалость? Подождать – само пройдет».

Утешался, но не утешился. Похоже было на то, как если б кто-нибудь, видя чумной нарыв на теле своем, говорил себе: это ничего, так, прыщик, само пройдет. Теперь уже знал,

что само не пройдет и что эта книжечка – против тайного общества – тряпочка с маслом на чумной нарыв.

И Крылов, опять Крылов, лентяй – лентяю вспомнился. Над самым диваном, где обыкновенно сживал Крылов, большая, в тяжелой раме, картина висела наискось: с одного гвоздя сорвалась и на другом едва держалась.

«Берегитесь, Иван Андреевич, – убьет». – «Небось по закону механики, кривую линию опишет, падая: как раз мимо головы пролетит».

«Пролетит мимо», – думал когда-то и он о заговоре; но теперь знал, что не мимо.

Во время болезни, ожидая смерти, понял, что нельзя оставлять России такого наследства, и дал себе клятву, если выживет, решить наконец что-нибудь о тайном обществе, что-нибудь сделать. И вот именно сегодняшней день, самый для него святой и страшный – 11 марта, – назначил себе, чтобы решить.

Что же? Суд? Казнь?

«Не мне их судить и казнить: я сам разделял и поощрял все эти мысли, я сам больше всех виноват», – сорвалось у него с языка при первых слухах о тайном обществе, которые сообщил ему, еще раньше доноса Бенкендорфова, генерал Васильчиков.

Да, первый и главный член тайного общества – он сам. «Негласный комитет», собиравшийся здесь же, в покоях Зимнего дворца, – пять молодых заговорщиков: Чарторьжский, Новосильцев, Кочубей, Строганов и он, государь, – вот колыбель тайного общества.

К Бенкендорфovu доносу приложен был устав Союза Благоденствия. Цели союза: ограничение монархии, народное правительство, уничтожение крепостного права, гласность судов, свобода тиснения, свобода совести – все, чего желал он сам.

Сколько раз говорил: желал бы сделать то и то – но где люди? Кем я возьмусь? Вот кем. Вот люди. Сами шли к нему, но он их отверг; и если пойдут мимо, против него, – кто виноват?

Говорил – услышали; учил – учились; повелел – исполнили. Он изменил тому, во что верил; они остались верными. За что же их судить? За что казнить? Если им на шею петлю, то ему – жернов мельничный за соблазн малых сих. Судить их – себя судить; казнить их – себя казнить.

Он – отец; они – дети. И казнь их будет не казнь, а убийство детей. Отцеубийством начал, детоубийством кончит. Взошел на престол через кровь и через кровь сойдет: 11 марта – 11 марта.

Так вот ужас, который он звал, – пробуждение от страшного смертного сна. Что еще жива душа его, он только и знал по этому ужасу.

Нет, никогда ничего не решит, ничего не сделает. Будь что будет – молчать, терпеть, скрывать до конца страшную и постыдную язву.

Собрал бумаги, положил их опять в тот же ящик стола и запер с таким чувством, что уже никогда не вынет.

На самом дне заметил отдельный листок очень старой пожелтевшей бумаги – чье-то письмо. Знал, чье, к кому, о чем; хотел было перечесть, но раздумал, решил – потом, оставил в ящике, только положил на виду, сверху, так, чтобы найти тотчас, когда надо будет.

Подошел к окну, посмотрел. Прояснило – должно быть, подморозило. Мокрый снег перестал. Слышался железный скрежет скребков: счищали снег с набережной – знакомый петербургский звук, напоминающий весеннюю оттепель. Посыпали гранитные плиты желтым песком: государь любил весенние прогулки по набережной. Через белую скатерть Невы перевоз, подтаявший, с наклоненными елками, уже чернел по-весеннему. Светлый шпиль Петропавловской крепости пересекал темно-лиловые полосы туч и бледно-зеленые полосы неба, тоже весеннего; а там, на западе, над многоколонною биржею, похожей на древний

храм, небо еще бледнее, зеленее, золотистее, – бездонно-ясное, бездонно-грустное, как чей-то взор. Чей?

«Не надо, не надо...» – хотел сказать еще раз, но уже не мог, – вспомнил все.

То был последний накануне страшной ночи семейный обед императора Павла I; все они, жена и дети, думали, что он сумасшедший; а он, отец, думал, что они – убийцы. Но ели, пили, говорили, шутили как ни в чем не бывало. Только на прощание Павел подошел к Александру, обнял его, поцеловал, перекрестил, положил ему обе руки на плечи и посмотрел прямо в глаза, долго-долго, с такой любовью, как никогда. Один миг казалось обоим, что они друг другу скажут все и все простят.

И вот опять бледно-зеленое небо смотрит ему прямо в душу, бездонно-ясное, бездонно-грустное, как тот последний взор. Но теперь уже нельзя сказать, нельзя простить.

И кажется, тот миг и этот – один; между ними нет времени, как будто время шло не вперед, а назад: наступало прошлое, наступило, пришло – и уже никогда не уйдет. И двадцать три года жизни – Наполеон, пожар Москвы, взятие Парижа, победы, слава, величие – все исчезло как сон – ничего не было, а было, есть и будет одно – вот этот вечный миг.

Теперь только понял, почему не может судить и казнить заговорщиков. Не он – их, а они его будут судить и казнить. Божий суд над ним, Божья казнь ему – в них. Кровь за кровь. Кровь сына за кровь отца.

Повалился на стул и закрыл лицо руками.

Кто-то постучался в дверь. Вздрыгнул, обернулся, побледнел так, как в ту страшную ночь.

Откликнулся не сразу. Но когда через несколько минут вошел камердинер Мельников со свечами – уже стемнело – и с докладом об архимандрите Фотии, государь сидел опять в кресле, как давеча, протянув больную ногу на подушку, с книгой в руках, и лицо его было так спокойно, что никто не догадался бы, что он сейчас думал и чувствовал.

## Глава шестая

Дежурный камердинер Мельников доложил государю об архимандрите Фотии. Государь велел принять.

Потайной Zubовской лестницей, такой темной, что среди дня ходили по ней с огнем, введен был Фотий во дворец.

В былые годы раздавалось по ночам на этой лестнице мяуканье, которым фрейлины звали юного кота к дряхлой кошурке, Платона Zubова – к Бабушке; а потом к внуку пробирались тайком на духовные беседы статская советница Татарина – хлыстовка, Крюденерша-пророчица, придворный лакей Кобелев – посол скопческого бога Селиванова, и граф Жозеф де Местр – посол римского папы, и английские квакеры, и русский юрод, и барабанщик Никитушка, и еще много других.

Идучи по лестнице, Фотий крестился и крестил все углы, переходы, и двери, и стены дворца, помышляя, что «тьмы здесь живут сил вражьих».

Когда вошел в кабинет государя, тот встал навстречу ему и хотел подойти под благословение. Но Фотий как будто не видел его; искал глазами по углам, перебегая взором от мраморной Паллады над каминным зеркалом к триумфальным колесницам и крылатым победам на потолке. Там, под ними, в углу, нашел, наконец, образок. Истоиво, медленно перекрестился и тогда только взглянул на государя.

Тот понял: сначала Богу поклонись, Царю Небесному, а потом – земному. Понравилось.

– Благословите, отец Фотий!

– Во имя Отца, и Сына, и Духа Святаго. Благослови тебя Господи!

Тем же истоивым широким крестам. перекрестил его так, как простых мужиков крестит сельский священник. Опять понравилось.

Государь поцеловал руку монаха, и тот не отдернул ее, как будто даже нарочно сунул, почти с грубостью. Этого учить не придется, как прочих, чтоб не кланялся в ноги царю, – скорее сам потребует, чтобы ему поклонился царь.

Страхом расширенными глазами смотрел Фотий на государя; но то был страх не человеческий; продолжал, как давеча на лестнице, крестить себя, крестить во все стороны воздух: еще большие тьмы вражьих сил живут здесь, близ царя, а может быть, и в нем самом.

– Прошу вас, присядьте, ваше преподобие...

Государь запнулся: не был уверен, что архимандрита зовут преподобием; не тверд был в церковных чинах, как и в русском языке вообще, когда речь шла о предметах духовных: привык говорить о них по-французски и по-английски.

Фотий сел, но не там, где государь указывал, рядом с собой, а поодаль, у окна, неловко, на самый край стула.

– Я очень рад вас видеть, – продолжал государь, затрудняясь и не зная, с чего начать. – Я много слышал о вас от князя Голицына... и от графа Аракчеева, – поспешил прибавить, вспомнив, что Фотий Голицыну враг. – Я давно желал поговорить с вами о делах церкви, которые, к душевному прискорбию моему, не так идут, как следует. Об одном прошу вас: говорите всю правду... Если бы вы знали, отец, как редко слышу я правду и как в этом нуждаюсь, – заключил с искренним чувством.

– Государь всемилостивейший, Ваше Императорское Величество! – начал было Фотий торжественно, видимо, заранее приготовленную речь, но вдруг остановился, как будто забыл все, что хотел сказать, вытер платком пот с лица, растерянно махнул рукою, приподняв полу рясы, открывая высокий мужичий сапог, и вынул из-за голенища пачку листков, мелко исписанных.

– Тут все, все, – забормотал, торопясь и оглядываясь. – Если хочешь знать все, государь, слушай. Тут все, по Писанию, до точности.

И прочел заглавие: *«План разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо»*.

Государь плохо слышал – был туг на ухо – и думал о другом: вспоминал рассказы Голицына о Фотии.

Сын бедного сельского причетника, родился на соломе, в хлеву, как оный Младенец в яслях вифлеемских. Всю жизнь был в бедах, ранах, болезнях, биениях, потоплениях многократно; нищ, наг, хладен и гладен. Когда учился в Петербургской семинарии, бегал по праздникам из Лавры на Васильевский, к тетке, за концом пирога или пятачком на сбитень. Служа в Первом кадетском корпусе законоучителем, вступил в борьбу с масонами, иллюминатами, мистиками и прочими слугами антихристовыми. Исполнившись Ильиной ревностью, небоязненно голос свой, как трубу, возвышал; как юрод, ходил всюду; вопиял, обличал, хотел взять штурмом крепость вражью. На корпусном дворе, в присутствии кадет, собрав кучу книг еретических, сжег в огне с громогласной анафемой. Подкупал слуг в домах, где происходили сборища мистиков; слуги проламывали стены под потолком, просверливали дыры, и он наблюдал за тем, что творилось внизу, а потом доносил митрополиту или обер-полицеймейстеру. Наконец враги обещали будто бы миллион за убийство Фотия. Он бежал от них при помощи кадет, выскочив ночью в одной рубахе через окно в сад и через стену сада на улицу. Боролся с бесами, которые являлись ему в страшных подобию телесных, били его и таскали за волосы до бесчувствия или, в образе ангелов светлых, искушали хитрою лестью: «Преподобный отче Фотий, сотворил бы ты некое чудо – перешел бы у дворца по Неве, яко по суху». Был девственник, плоти истязатель, великий постник; носил железные вериги, спал в гробу; целыми неделями питался одним липовым цветом с медом, как божья пчела, даже чая не имел у себя в келье, а пил укропник. Так ослабевал от поста, что едва стоял на ногах и шатался, как тень; дрожал в вечном ознобе и летом ходил в шубе. В Страстную же седмицу желудок его в ореховую скорлупу сжимался, и потом, чтобы привыкнуть к пище, постепенно увеличивая приемы, развешивал их, как лекарство, на аптекарских весах.

Вспоминая все это, государь с любопытством вглядывался в лицо Фотия.

Худенький, сухонький, востренький, будто весь колючий, с колючими, как рыбы косточки, быстро сверкающими серыми глазками, хищными, как у хорька, с пушистыми, рыжими, как хорьковый мех, волосами и рыжей бородкой; сквозь прозрачно-восковую бледность кожи проступает синевя пятнами, как на лице покойника. Не посидит на месте, все шевелится, боязливо оглядываясь, тоже как дикий хорек в клетке. Но в этой дикости – что-то жалкое, детское, что внушало невольное желание погладить и приручить его – только бы не укусил.

Фотий продолжал читать, бормоча себе под нос, невнятно, быстрым задыхающимся шепотом, – отдельные слова долетали до государя, похожие на бред.

– Число звериное 666. Се – тайна последних времен, тайна великая. На 1836 год готовится царство Зверя... Пароль на все наложен: раскопать алтари и разрушить престолы... Под видом тысячелетнего царствования, феократического правления – Новая религия во грядущего антихриста... всемирная революция...

– Прошу вас, отец Фотий, – остановил его государь, – я плохо слышу на левое ухо, пересядьте сюда поближе.

Фотий вздрогнул и дико воззрился, но тотчас пересел; продолжал читать. Государь слушал и не верил ушам своим: Священный Союз – революционный заговор.

– Как же так, отец Фотий? О тысячелетнем царствии святых на земле не молится ли сама церковь?

Это слышал он от Голицына; тот именно так объяснял Священный Союз, о котором, при заключении его, объявлено было торжественно во всех церквах Российской империи.

– Чего молиться? Все исполнилось, – проворчал Фотий сердито.

– Когда же? Где?

– Со дней святого Константина Равноапостольного – в церкви православной, католической; иного же царства не будет. Так отцы предали, так и мы веруем. А что сверх сего, то от лукавого...

Государь не возражал более, но покачал головою сомнительно: войны, смуты, революция, разделение церквей, братоубийственная ненависть народов – это ли Царство Божие на земле, как на небе?

– Тут все у меня, все по Писанию, до точности. Вот слушай...

Опять засуетился, отыскивая нужные листки, лазил за голенища, за отвороты рукавов и за пазуху; весь был обложен доносами, как воин доспехами.

Государь испугался, что чтение никогда не кончится.

– Знаете что, отец Фотий, оставьте мне ваши записки, я прочту уже внимательно, а теперь поговорим. Скажите мне все, что на сердце у вас...

Фотий начал было снова суетиться, креститься, но вдруг положил листки на стол, привстал, наклонился, вытянул шею, приблизил губы к самому уху царя и зашептал уже внятными шепотом:

– Как пожар, в России вскоре разгорится революция; уже дрова подкладены и огонь подкладывают... Министерство духовных дел, Библейское общество, иллюминаты, масоны и прочих мистиков сволочь зловерная – един всеобщий заговор. Готовится вдруг всегубительство. Торжественно о том опубликовано, дабы мечи взять и всех заколоть нечаянно... А всему причина главная, всем злодеям злодей – знаешь кто?

– Кто?

– Голицын.

– Что вы, отец? Я князя Александра Николаевича знаю вот уже тридцать лет: вместе росли; люблю, как родного. Да если он, то и я...

– И ты, и ты, государь благочестивейший, помазанник Божий, сам себе, по неведению, изрываешь ров погибели. Если не покаешься, будешь и ты в сетях дьявольских!..

Вскочил и, весь дрожа, как лист, глядя на него горящими глазами, закричал неистово:

– С нами Бог! Господь сил с нами! Что сделает мне человек? Ты, царь, можешь все: наступишь на меня, яко путник на мравия, – и нет меня... Казни же, убей, возьми душу мою! Ничего не боюсь! На всех врагов Господних – анафема!..

В поднятой руке его что-то блеснуло, как нож: то был крест.

Государь тоже встал и невольно отступил. «Сумасшедший!» – промелькнуло в голове его.

– Да воскреснет Бог и да расточатся врази его! Яко тает воск перед лицом огня, да исчезнут! – потрясал Фотий крестом, как ножом. – Если и ты, царь, не послушаешь, одно осталось: взять в одну руку Евангелие, в другую – крест и на площадь пойти, возгласить в народ: «Православные, ратуйте!» И вся Россия узнает... Многие вступятся... Революция так революция! С нами Бог! Господь сил с нами! Пошли, Боже, грома твои, блесни молнией и разжени врагов! О Господи, спаси же! О Господи, поспеши же!..

С воплем, ломая руки, упал к ногам государя; трясся весь, как в припадке.

– Встаньте же, встаньте, прошу вас, не надо... – старался его поднять государь.

Но Фотий не вставал, ухватившись за него руками судорожно, как утопающий.

– Спаси, защити, помилуй, царь мой, Богом данный, возлюбленный! Я тебе верный слуга, яко Богу... Хочешь, все скажу, все?.. Как план революции вдруг уничтожить тихо и счастливо?

И опять зашептал ему на ухо:

– Было мне от Господа видение: шли мы строем по воде, яко по суху, – я, ты и он...

– Кто он? – с каким-то суеверным страхом спросил государь.

– Граф Аракчеев, – ответил Фотий. – Граф Аракчеев – столп отечества, муж преизящнейший. Яко Георгий Победоносец явится; верен, правдив, церковь Божию истинно любит; ему можно все поверить – все сделает... И я с ним. Я, ты и он. Вместе строем по воде, яко по суху... Государь-батюшка, Ваше Величество, в двенадцатом году победил ты Наполеона телесного; самого же антихриста – Наполеона духовного – победить можешь ныне в три минуты, одной чертою пера! Только указ подпиши: общество Библейское закрыть, Голицына удалить, министерство духовных дел упразднить – и в три минуты, в три минуты одной чертою пера уничтожишь всю революцию!..

Встал, но не удержался на ногах и в изнеможении, почти в беспамятстве, упал на стул; рыжие волосы прилипли к потному лбу; смотрел в одну точку бессмысленно, как будто ничего не видел и не сознавал, где он, что с ним. Синева проступала еще больше сквозь трупную бледность лица; кончик носа заострился, как у мертвого.

«Сумасшедший? – думал Александр. – Почему сумасшедший? Потому ли, что красно говорить не умеет, не царедворец в рясе, а простой мужик, неученый, немудрый, как те галилейские рыбаки, коих избрал Господь, дабы пристыдить мудрых века сего? И не все ли почти правда, что он говорит? Не в Голицыне же дело. А что сам я служил духу своеволия безбожного, духу революции сатанинскому и теперь еще, быть может, служу по неведению, – разве не так? И откуда он знает, как будто прочел в сердце моем? Полно, уж не он ли муж Господень в духе и силе, для моего спасения посланный?..»

Фотий очнулся, зашевелился и с трудом, через силу встал на ноги: должно быть, понял наконец, что нельзя сидеть, когда царь стоит; понял также, что беседа кончена. Торопливо достав откуда-то забытый листок, приложил к остальной пачке на столе государевом. И опять что-то было детское, жалкое в этом движении, от чего государь еще сильнее почувствовал, что обидел его.

– Отец Фотий, – проговорил он, взяв его за руку, – обещаю вам обо всем, что вы мне сказали, подумать, и верьте, все, что могу, сделаю... А если что не так сказал – простите, Бога ради! И помолитесь за меня, прошу вас, очень прошу...

Как это часто с ним бывало, умилился и растрогался от собственных слов.

Медленным движением, морщась от боли в ноге – но чем больнее, тем приятнее, – опустился на колени перед Фотием; красоту смиренного величия своего тоже почувствовал, как будто увидел себя в зеркале, – и еще больше растрогался; что-то подступило к горлу, зашепотало привычно-сладостно.

Вот кому исповедаться во всем, сказать все, как самому Христу Господню, – самое страшное, тайное – об этой вечной муке своей – о пролитой крови отца: уж если он простит, разрешит на земле, то будет разрешено и на небе.

И о красоте не думая, почти не сознавая, что делает, государь поклонился в ноги Фотию.

Упоительней, чем запах мускуса от черных кружев баронессы Крюденер, был запах дегтя от мужичьих сапог. И так легко стало, как будто кровавая тяжесть венца, которая всю жизнь давила его, вдруг спала на одно мгновение.

Радость засверкала в глазах Фотия, и он положил руки на голову царя, как на свою добычу.

– Благослови тебя Господи!

Потом наклонился и еще раз шепнул ему на ухо:

– Помни же, помни, помни: вместе, втроем – я, ты и он!

Уходя в одну дверь, Фотий увидел в другой, чуть-чуть приотворенной, глаз Аракчеева: он подслушивал и подглядывал.

Когда Фотий ушел, дверь приотворилась шире, и Аракчеев, не входя, просунул голову. – Алексей Андреич, ты? – позвал государь тем острожным голосом, которым говорил с ним одним; так любящий говорит с тяжелобольным любимым другом. – Войди. Аракчеев вошел.

## Глава седьмая

Давняя вражда двух царских любимцев, Аракчеева и Голицына, в последнее время так усилилась, что самому государю от них житья не стало. Надо было сделать выбор и кем-нибудь из двух пожертвовать. Но в обоих нуждался он одинаково: в Аракчееве для дел земных, в Голицыне – для дел небесных.

Голицын обратил государя в христианство: вместе молились, вместе читали Писание, вместе издавали сочинения мистиков, устраивали Библейское общество и Священный Союз, мечтали о Царствии Божиим на земле, как на небе. А без Аракчеева, как без рук и без ног, – пошевелиться нельзя.

И хуже всего было то, что Аракчеев, как подозревал государь, вступил в заговор против Голицына с митрополитом Серафимом и Фотием. Голицына все духовенство ненавидело, но скрывало ненависть, покорялось и терпело молча. Когда же явился Фотий, то осмелело и взбунтовалось.

– Голицын патриархом стал, все священство разрушил, все себе в руки забрал! – вопил Фотий, и повторяли за ним другие. – Из Святейшего Синода министерскую канцелярию сделал и един, просто сказать, нечистый заход...

Между Синодом и министерством началась такая свара, что хоть святых вон выноси. Но государь надеялся, по своему обыкновению, примирить непримиримое, сделать так, чтоб и овцы были целы, и волки сыты.

Об этом и хотел говорить с Аракчеевым. Но слишком скрытны были оба, чтобы начать сразу; говорили о другом, ходили вокруг да около, притворялись, точно в жмурки играли; высматривали и ошупывали друг друга, как бойцы перед битвою.

Государь хвалил Фотия; Аракчеев поддакивал.

– Святой человек, Ваше Величество, батюшка, воистину святой. Таких только два и есть у нас: отец Фотий да отец Серафим, подвижник Саровский...

Как все глухие, государь был застенчив и мнителен: не любил, когда говорили слишком громко, – это напоминало ему глухоту; а когда тихо – боялся не расслышать. Один Аракчеев умел говорить, не возвышая голоса, но так внятно, что государь слышал каждое слово.

– Как же нам, Алексей Андреич, с Голицыным быть? – начал он с притворной беспечностью, убедившись наконец, что Аракчеев об этом первый ни за что не начнет; но, взглянув исподлобья, украдкой, – по лицу его, сразу окаменевшему, понял, что дело плохо.

– Уж не знаю, право, как быть, – продолжал государь боязливо и вкрадливо, – все дела стали, просто беда... Съездил бы ты к митрополиту, поговорил бы с ним – может, и помирился? Устроил бы как-нибудь... Сделай это для меня, голубчик...

– Рад стараться, Ваше Величество! Как повелеть изволите, так и сделаю, – ответил Аракчеев по-солдатски, сухо, почти грубо, и лицо его еще больше окаменело.

– Только не подумай чего, ради Бога, Алексей Андреич! Я ведь только так... Если ты... если тебе... – начал государь и умолк под каменным безмолвием своего собеседника, – вдруг испугался, растерялся окончательно; уже не рад был, что заговорил.

Долго молчали оба, не глядя друг на друга.

– Ваше Величество, – произнес наконец Аракчеев тем глухим, уныло-торжественным, как будто замогильным, голосом, которого боялся государь пуще всего, – почитаю себя в обязанности, по долгу верноподданного, говорить всю правду Вашему Величеству: вы столько были ко мне милостивы, что сами приучили меня к тому. И ныне, боясь гнева Божьего...

– Да нет же, нет, Алексей Андреич, я не о том, – тщетно пытался государь остановить его.

– ... И ныне, боясь гнева Божьего, – продолжал Аракчеев неумолимо, – скажу вам всю правду, как перед Богом истинным. Я ничьих дел не знаю, а только, видя на опыте, что злых людей больше, чем добрых, и всегда худого больше на свете, чем хорошего, поставил себе неизменным правилом никакого не иметь ни с кем знакомства и единственно своею заниматься должностью. Но грешно мне было б не открыть того, что знаю, Вашему Величеству. Князь Александр Николаевич Голицын...

Голос его оборвался, визгливый, пронзительный, плачущий. Государь слушал, уже не пытаясь остановить, покорно наклонив голову, с таким же виноватым лицом, как давеча тот старый генерал, которому Аракчеев делал выговор.

– Князь Голицын – царю и отечеству враг, злодей государственный. Появление книг богоотступных пронзает горестью сердца благомыслящих подданных. Уже и в подлом народе от чтения рассылаемых повсюду Библий о Вольности толки рождаются. Далеко ли до бунта? Заражение умов есть генеральное... неблагонамеренность, разврат и революция...

Со страхом ждал государь, что он заговорит о тайном обществе. Но и теперь, как всегда, Аракчеев говорил так, что нельзя было понять, знает он или не знает, держал угрозу, как меч, над головой царя.

– Впрочем, буди воля Вашего Величества, а я изъяснил мысли мои, по слабому моему разумению; молчать и повиноваться не стать мне учиться в пятьдесят один год от роду, с самых юных лет жизни моей приобывнув к сему. Как прикажете, так и сделаем, – заключил он, вставая и вытягиваясь, как во фрунте: руки по швам.

– Алексей Андреич, Алексей Андреич! – воскликнул государь горестно. – Ты знаешь, как я тебе... – хотел сказать: предан, – как я тебя люблю... Сколько лет вместе! И вот неужели же, неужели теперь?..

Что теперь будет – предвидел: хотя по давнему опыту мог знать, что ничего не будет, но при каждой ссоре боялся, что Аракчеев уйдет от него – и он пропал.

– Я, Ваше Величество, батюшка, знаю, что как милостей ко мне ваших нет примера, так и преданности моей нет пределов. Ни разума столько, ни слов не имею, чтобы изъяснить вам всю благодарность мою. Но, чувствуя слабость здоровья, должен просить увольнения. Старость пришибла, кости болят; час от часу слабею, таю как воск. Пора на покой, надобно и честь знать. Прошусь совсем прочь от дел, кои мне наскучили и здоровье мое тяготят, по прямому моему карахтеру... Пусть уж другие, а я не могу, не могу... Нет лести на языке моем... Правдивая душа в Бозе почивающего благодетеля моего, государя императора Павла I, призирает с горних и одобряет чувства, меня одушевляющие...

Поднял глаза к небу и начал всхлипывать, сперва тихо, потом все громче и громче. Государь смотрел на него с возрастающим ужасом: слез его не мог вынести.

– Алексей Андреич! Алексей Андреич! – повторял с мольбою. – Что же это такое? За что? Господи, Господи!..

И всплескивал руками, и протягивал к нему руки, и хватался за голову.

– Увольте, увольте, батюшка, – вдруг зарыдал Аракчеев, закашлялся, задохся, затрясся весь, как в припадке, повалился на стул и сквозь кашель и плач завизжал каким-то не своим, тонким, страшным, бабьим голосом: – На покой, на покой! В Цуруканскую крепость! Плац-майором! По шапке дурака старого! Аракчеев – изверг! Аракчеев – змий! Аракчеев – гадина!..

Государь вскочил, весь бледный, дрожащий, и, пока тот отхаркивал мокроту в платок, – смотрел, не будет ли крови: давно уже пугал его Аракчеев своим кровохарканьем. Вдруг, отчаянно махнув рукою, государь тоже повалился в кресло, уперся локтями в стол, стиснул руками голову и закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать.

Аракчеев высморкался оглушительно, мало-помалу затих, посмотрел на него украдкой долго, спокойно и пронизательно, как бы решая, готов ли он; решил – готов. Тихонько

встал и, весь изогнувшись, крадучись на цыпочках, подошел – черная тень на серой стене промелькнула, как тень исполинской *ночанки*. Опустился на колени, на коленях подполз.

– Прости, батюшка! Огорчил я тебя, прости старика глупого, ради Христа...

Тихонько взял руку его и поцеловал. Государь вздрогнул, обернулся, с боязливой улыбкой, как будто не веря своему счастью, посмотрел на него и вдруг весь просиял, заплакал, бросился к нему на шею. Лицо у него было в эту минуту такое же, как у Софьи, больной девочки, когда она к нему ласкалась давеча.

– Алексей Андреич, дружочек миленький... ты меня прости за все!.. И не надо больше, не надо об этом. Ну, разве я... Боже мой, Боже мой, разве я могу без тебя? Да если б ты от меня...

– Не уйду, батюшка, не уйду небось! Куда мне? Только ты да Бог – больше никого не имею на свете...

– А Голицына, – лепетал государь, торопясь и захлебываясь от радости, – Голицына, будь покоен... я и сам хотел... Голицына завтра же не будет!

– Нет, государь, оставь Голицына, не тронь. Ужо к митрополиту съезжу, даст Бог, уладим все.

– Ну хорошо, хорошо. Все, как ты... как вместе решим... только бы вместе – и все хорошо будет! – проговорил он, глядя на него с блаженной, сквозь слезы, почти влюбленной улыбкой. – Да побереги ты себя, голубчик, ради Бога, о своем здоровье подумай. Ведь кашляешь-то как опять! Простудился, должно быть... А молоко кобылье пьешь?

– Пью, батюшка, пью. Только не молоко, а милость твоя мне лучше всех бальзамов целительных... ничего больше не надо – умереть бы у ног твоих, как псу, издохнуть...

Положил голову на колени государя, прижавшись к руке его мокрою от слез щекою, и смотрел снизу вверх, в самом деле как старый верный пес.

– Одни мы с тобою, одни на свете, батюшка! Сироты бедные. Никто-то нас не любит, никто не жалеет... Вот в отставку выйдем вместе ужю, уедем в Грузино, – лепетал как в бреду, – по полям, по лесам будем гулять, цветки собирать, песенки петь, два брата названные... Только нас двое всего, ты да я, да вот он еще, он промеж нас двух – третий...

Указал на медальон императора Павла I, висевший у него на груди. Всегда в этот день – 11 марта, единственный день в году, – вместо портрета царствующего надевал портрет покойного императора. Поднес его к губам благоговейно, перекрестился и поцеловал, как образ.

– Прильпни язык мой к гортани моей, аще не помяну ты во все дни живота моего! – прошептал молитвенным шепотом. – Как ручки-то наши соединил, помнишь?

Александр кивнул головою молча. В день восшествия своего на престол император Павел I в Зимнем дворце, рядом с комнатой, где умирала императрица Екатерина, соединяя руки Александра и Аракчеева, сказал: «Будьте вечными друзьями».

– А рубашечку помнишь?

Государь кивнул опять с нежной улыбкой. В тот же памятный день, когда прискакавший из Гатчины на фельдъегерской тележке под проливным дождем и промокший весь до нитки Аракчеев должен был переменить белье, Александр дал ему свою рубашку; и он завещал похоронить себя в ней.

– Во сне-то нынче опять видел его, – шептал все тем же благоговейным шепотом.

– Опять?

– Опять, батюшка! Каждый год в эту самую ночь. Марта 1 каждый год. В прошлом-то году – будто смутненький такой, темненький и личико все отворачивает, шляпочку низко надвинул – лица не видать, вот как в гробу лежал. А нынче будто с открытым личиком, только весь желтенький, жалкенький такой, и на височке на левом малое черное пятнышко...

– Не надо! Не надо! – простонал Александр почти в беспомощности, закрывая лицо руками.

– Не буду, батюшка, небось не буду. Прости меня, глупого...

– Нет, говори, говори все. Как же нынче?

– А нынче будто все шейкою вертит. «Что это говорит, какой галстух тугой? Не умеют впору и галстуха сделать!» И сердится будто. А потом о тебе говорит: «Смотри, говорит, Алексей Андреич, чтоб и с ним того же не было. Береги его, будь ему в отца место!»

Александр слушал, содрогаясь, холодея весь, как будто доносилась к нему в этом шепоте нездешняя весть.

– «В отца место», – повторил, рыдая, и прильнул губами к портрету Павла I на груди Аракчеева: ему казалось, что он целует живого отца. Было дальше, дальше детство в прикосновении жестких, бритых щек и в запахе старого зеленого мундирного сукна – знакомый казарменный гатчинский запах, запах отца. Последнее убежище, где ему уютно, покойно и ничего не страшно ни в прошлом, ни в будущем, – только здесь, на груди Аракчеева, на груди отца, как будто оба – одно, и он уже не различает их.

Плакали оба, и слезы их смешивались. Аракчеев гладил волосы его, ласкал, как маленького мальчика. И государю казалось, что ласкает его, прощает отец.

Опомнился, когда Аракчеев кашлянул; затревожился.

– Горяченького бы тебе, дружок? Малины хочешь аль пуншику?

– Чайку бы! – простонал Аракчеев болезненно.

Государь любил чай, и с Аракчеевым особенно. Захлопотал, засуетился, позвонил камердинера. Знал, что государыня ждет; привыкла во время болезни его пить с ним чай, дорожила этим единственным временем, когда были они вместе. Но послал ей сказать, что не придет, – не задумался пожертвовать ею «другу любезному».

Сам заварил чаю, особого, зеленого, аракчеевского, из свежего цибика; перемыл чашки, полотенцем вытер тщательно; налил не жидко, не крепко, а впору как раз. Колол для прикуски мелкие кусочки сахару: знал все его привычки и прихоти. Ухаживал, потчевал.

– Крендельков анисовых? Любимые твои. Сливочек?

– Сырых не пью, батюшка.

– Вареные. Ефимыч знает: сырых не подаст. Видишь, пеночка. Ты с пеночкой любишь?

– Люблю с пеночкой, – вздохнул Аракчеев жалобно; и, жалобно дую губами, сложенными в трубочку, смиренно пил с блюдечка. Государь смотрел на него с умилением, как мать на больного ребенка.

Беседовали о мелочах военной службы – предмет излюбленный, неиссякаемый и всегда успокоительный.

Рассматривали нового образца щеточку для солдатских усов и дощечку для чищения пуговиц. Тут же сделали пробу: вычищенные на мундире Аракчеева пуговицы заблестели как жар. И щеточка оказалась восхитительной.

Потом заговорили о новом указе: «Дабы по всей армии делали шаги в аршин, тихим шагом по 75 в минуту, а скорым, той же меры, по 120 шагов; и отнюдь бы с оной меры и кадансу не отступать».

О военном параде на Марсовом поле. В лейб-гвардии Саперном батальоне тишины надлежащей в шеренгах не было, много колен согнутых, игры в носках мало, и во фронте кашляют.

– Ну а зато измайловцы утешили, батюшка, – заметил Аракчеев. – Ах, хороши, молодцы измайловцы! Уподобить должно стенам движущимся: не маршируют, а плывут. Заглядение! Кажись, вели на руки вверх ногами стать, и то пройдут!

– Недурны, – скромничал государь, краснея от удовольствия при этой похвале своему полку любимому. – А все-таки жаль, что, когда стоят на месте, приметно дыхание, – видно, что люди дышат...

Вспомнили одного ординарца времен павловских, который выучен был носить стакан воды на кивере, не расплескивая; теперь уже не выучишь: не те люди, не те времена.

Наконец погрузились в бесконечное рассуждение о том, как на обшлаге нового мундира егерского вместо зубчатой вырезки клапана сделать прямую и вместо трех пуговиц пять.

Лицо у государя было как в детстве, когда играл он в солдатики. И в этой беседе – то же родное, милое, гатчинское, как будто опять между ними двумя – третий – он, отец. И хорошо, тихо-тихо, безрадостно, безгорестно, как в вечности. Кажется, что ничего не было, нет и не будет, кроме плутонг, шеренг, эшелонов, баталионов, правильных, тождественных, единообразных человеческих куч, уходящих, подобно щебенным кучам, по обеим сторонам дороги в бесконечную даль.

На часах пробило десять. Государь опять затревожился: Алексею Андреичу спать пора; поздно ляжет – не заснет. Прекратил беседу на полуслове, велел ему уходить, напомнил о кобыльем молоке, чтоб на ночь выпил. Обнялись на прощанье, перекрестили друг друга.

Когда Аракчеев ушел, государь начал тоже собираться ко сну. Обряд неизменный. Прочел по одной главе из Ветхого Завета, Евангелия, Апостола. Много лет читал вместе с Голицыным одни и те же главы по расписанию на целый год; иногда, в походах, в путешествии, чтобы не сбиться со счета глав, присылал к нему курьеров за справками из-за тысячей верст.

Перешел в спальню рядом с кабинетом; стал на молитву; стоял недолго, потому что нога болела; а прежде от этих стояний, вечерних и утренних, мозоли на коленях делались.

Умылся, подошел к окну, отворил форточку минут на десять: к «воздушным ваннам» приучила его с детства Бабушка по совету философа Гримма.

Лег. Постель односпальная, узкая, жесткая, походная, с Аустерлица все та же: замшевый тюфяк, набитый сеном, тонкая сафьянная подушка и такой же валик под голову.

Обыкновенно засыпал тотчас, как ляжет: повернется на левый бок (спал всегда на левом боку), перекрестится, подложит левую руку под щеку, закроет глаза и уже спит таким глубоким сном, что, бывало, дежурный камердинер с камер-лакеями тут же рядом, в спальне, прибирая платье, ходят, стучат, кричат, как на улице, потому что знают, что государя, «хоть из пушек пали, не разбудишь».

Но после болезни начались бессонницы. Так и теперь – уже засыпал, вдруг слышались голоса, голоса и шаги бегущих людей по гулким переходам и лестницам, приближающиеся – вот-вот войдут, как в ту страшную ночь. Вздрыгнул и проснулся с тяжело бьющимся сердцем. Чтобы успокоиться, стал думать о правильных, подобных движущимся стенам, шеренгах, о пяти пуговицах вместо семи на обшлаге мундира и начал забываться опять. Но Аракчеев зашептал ему на ухо: «Желтенький-желтенький, жалкенький такой... и на височке будто на левом малое черное пятнышко». Опять вздрогнул, проснулся, широко раскрыл глаза в ужасе – сна как не бывало; почувствовал, что не заснет во всю ночь.

Встал, надел шлафрок, пошел в кабинет, отпер ящик стола, где лежали бумаги о тайном обществе, взял отдельный, старый, пожелтевший листок, положенный давеча сверху, и стал читать. То было письмо князя Яшвиля, одного из цареубийц 11 марта. По-французски написано.

«Государь, с той самой минуты, как злополучный отец ваш вступил на престол, решил я пожертвовать собою, если нужно будет для блага России, которая со времен Петра I сделалась игрушкой временщиков и, наконец, жертвой безумца. Отечество наше находится под властью самодержавной, участь миллионов зависит от великости ума или сердца одного... Бог правды знает, что руки наши обагрились кровью царя не из корысти: да будет

же бесполезна жертва! Поймите, государь, призвание ваше, будьте на престоле человек и гражданин. Знайте, что для отчаяния есть всегда средства, и не доводите отечество до гибели. Человек, который жертвует жизнью, вправе вам это сказать. Я теперь более велик, чем вы, потому что ничего не желаю, и если бы нужно было для вашей славы, которая для меня так дорога только потому, что она – Слава России, я готов был бы умереть на плахе. Но это не нужно; вся вина падает на нас – вы же чисты; и не такие преступления покрывает царская порфира. Удаляясь в свои поместья, потщусь воспользоваться кровавым уроком и пецись о благе подданных. Царь царствующих простит или покарает меня в мой смертный час; молю его, дабы жертва моя была бесполезна. Прощайте, Государь. Перед государем я – спаситель отечества; перед сыном – отцеубийца. Прощайте. Да будет благословение Все-вышнего на Россию и на вас, ее земного кумира, – да не постыдится она его вовеки».

«...Теперь мы увидим, кто Александр, – похититель престола или сын отечества, готовый на великую жертву?..» – вспомнил государь из другого письма – лифляндского дворянина фон Бока, который за эти слова посажен был в Шлиссельбургскую крепость и там сошел с ума.

Как сам сходил с ума – тоже вспомнил. В Москве, во время коронации, просиживал целые дни, запершись в комнате, уставившись глазами в одну точку, так же как и теперь часто сиживал, ни о чем не думая, только чувствуя приближающийся ужас безумия, трусливый, животный, отвратительный, от которого холодеют и переворачиваются внутренности. Потом прошло, – думал, навсегда, но вот опять начинается.

Граф Пален, глава заговорщиков, двадцать три года живущий безвыездно на своей курляндской мызе Эккау в полном душевном спокойствии, когда речь заходит об 11 марта, говорит: «За что другое, а за это я сумею дать ответ Богу!» Так говорит, а сам каждый год в эту ночь напивается мертвецки пьян.

С него, что ли, взять пример, чтобы как-нибудь провести эту ночь?

Вернулся в спальню, достал пузырек с опиумом, накапал в рюмку с водой, выпил и опять лег.

Опять голоса, голоса и шаги бегущих людей по гулким переходам и лестницам, приближающиеся: вот-вот войдут, как в ту страшную ночь. И на левом виске желтенького, жалкенького личика малое черное пятнышко растет, растет, ширится, углубляется чернотой бездонною, в которую он, как в яму, проваливается.

А в это же время по темным залам дворца пробиралась женщина в сером платье, в сером платке, на лицо опущенном, похожая на изваяние древних плакальщиц или надгробный памятник. В ее движениях видно было то, что она сама о себе говорила: «Я всю жизнь пробираюсь по стенке». Так и теперь пробиралась по стенке, крадучись, как воровка, которая боится быть пойманной, или привидение души нераскаянной.

У входа в государевы покои два часовых взяли ружья на караул; молодой офицер, дремавший в кресле, едва успел вскочить, отдал ей честь обнаженною шпагою и, когда она прошла, опустив низко голову, закрывая лицо платком, посмотрел ей вслед с благоговейною жалостью: узнал императрицу Елизавету Алексеевну.

Государь, пока был болен, требовал, чтобы она не отходила от него; когда же выздоровел, она сделалась ненужной. Так всегда: в горе – с ним, без горя – одна. Не смея зайти к нему проститься на ночь, приходила тайком и целовала сонного: он был ей ближе так.

Вошла в спальню, наклонилась, перекрестила и поцеловала спящего в лоб.

Амуру вздумалось Психею,  
Резвяся, поймать, —

вспомнилась державинская ода новобрачным, пятнадцатилетнему мальчику и четырнадцатилетней девочке. Теперь плешивого Амура целовала старая Психея.

И опять по темным залам пошла назад, все так же пробираясь по стенке, крадучись, как воровка, которая боится быть пойманной, или привидение души нераскаянной.

## Часть вторая

### Глава первая

- Быть или не быть России, вот о чем дело идет!
- Россия, какова сейчас, должна сгинуть вся!
- Ах, как все гадко у нас, житья скоро не будет!
- Давно девиз всякого русского есть: чем хуже, тем лучше!
- А вот уж революцию сделаем – и все будет по-новому...

Это еще из передней, входя к Рылееву, услышал князь Валерьян Михайлович Голицын.

Один из директоров тайного общества, отставной подпоручик Кондратий Федорович Рылеев, жил на Мойке, у Синего моста, в доме Российско-Американской компании, где служил правителем дел. По воскресеньям бывали у него «русские завтраки». Убранство стола – скатерть камчатная, ложки деревянные, солонки петушьими гребнями, блюда резные – так же, как напитки и кушанья – водка, квас, ржаной хлеб, кислая капуста, кулебяка, – все было знаменем древней российской вольности. «Мы должны избегать чужестранного, дабы ни малейшее к чужому пристрастие не потемняло святого чувства любви к отечеству: не римский Брут, а Вадим новгородский да будет нам образцом гражданской доблести», – говаривал Рылеев.

Окна – в нижнем этаже с высокими чугунными решетками. Квартира маленькая, но уютная. Хозяйкин глаз виден во всем: кисейные на окнах занавески, белые как снег; горшки с бальзаминем, бархатцем и под стеклянным запотелым колпаком лимончик, выросший из семечка; клетка с канарейками, пол, свежую мастикою пахнувший; домашнего изделия половички опрятные; образа с лампадками и пасхальными яйцами.

Солнце било прямо в окна, кидая на пол косые светлые четырехугольники с черною тенью толстых, как будто тюремных, решеток. Канарейки заливались оглушительно. И казалось, что все это – не в Петербурге, а в захолустном городке, в деревянном домике: такое простенькое, веселенькое, невинное, именинное или новобрачное.

Гостей много – все члены тайного общества. Сидели, стояли, ходили, беседуя, закусывая, покуривая трубки. Чтоб освежить воздух, открыли форточку: с улицы доносилось весеннее дребезжание дрожек, детски-болтливая капель и воскресный благовест.

Хотя уже с месяц как Голицын был принят в общество, но на собраниях почти не бывал. Софья после разговора с ним на концерте Вьельгорского тяжело заболела. Он целые дни проводил у Нарышкиных в тоске и тревоге, считая себя виновником ее болезни. Тем сильнее была радость выздоровления: накануне доктор сказал, что опасность миновала.

Голицын решил пойти к Рылееву, куда уже давно звал его Трубецкой.

– А что, Нева еще не тронулась? – сказал кто-то среди наступившего молчания, когда они вошли с Трубецким.

– Нет, а скоро, должно быть, лед потемнел, полыньи большие, Мостки сняли, мосты развели.

Такое же весеннее, веселое почудилось Голицыну в этих словах, как и в тех, при входе услышанных: «А вот уж революцию сделаем – и все будет по-новому».

С любопытством вглядывался в лица – не похожи на лица заговорщиков: все молодые, тоже весенние, веселые. «Милые дети», – думал он. Или как пьяному кажется, что все пьяны, так ему, счастливому, – что все счастливы.

Трубецкой познакомил его с Рылеевым.

Лицо смуглое, худое, скуластое, мальчишеское: тонкие, насмешливо-дерзкие губы; большие прекрасные глаза, спокойно-печальные, но в минуту страсти загорающиеся таким огнем, что становилось жутко. Одет щеголем, но чуть-чуть безвкусно: плюсовый фрак, шитый, видимо, русским иностранцем с Гороховой; слишком пестрый жилет со стеклянными пуговицами; кружевные рукавички, слишком узкие. И в нем самом, так же как в квартире, – что-то простенькое, веселенькое, невинное, именинное или новобрачное. Беленький батистовый галстучек повязан тщательно, должно быть, жениными ручками, потрепавшими его при этом по щеке с обычною ласкою: «Ах ты моя пышечка, пульпушечка!» Волосы причесаны и на помажены гладко резедовой помадой, а один вихор на затылке торчит, непокорный: видно, мальчик – шалун, только притворился паинькой.

– А я вас помню, князь, по ложе Пламенеющей Звезды, и еще раньше, в четырнадцатом году, в Париже, – сказал Рылеев Голицыну, – вы, кажется, служили в Преображенском, а я в первой артиллерийской бригады конной роте подпрапорщиком.

– Да, только вы очень изменились, я и не узнал бы вас, – сказал Голицын, который вовсе не помнил Рылеева.

– Еще бы, за десять-то лет! Ведь совсем дети были...

«И теперь дети», – подумал Голицын.

– Русские дети взяли Париж, освободили Европу – даст Бог, освободят и Россию! – восторженно улыбнулся Рылеев и сделался еще больше похож на маленького мальчика. – А вы у нас десятый князь в обществе, – прибавил с тою же милою улыбкой, которая все больше нравилась Голицыну. – Вся революция наша будет восстание варяжской крови на немецкую, Рюриковичей на Романовых...

– Ну какие мы Рюриковичи! Голицыных как собак нерезаных – все равно что Ивановых...

– А все-таки князь и камер-юнкер, – продолжал Рылеев с немного навязчивою откровенностью, как школьный товарищ с товарищем. – Люди с положением нам весьма нужны.

– Да положение-то прескверное: Аракчеев намерен сделать выговор; хочу в отставку подать...

– Ни за что не подавайте, князь! Как можно, помилуйте! У нас такое правило: службу не покидать ни в коем случае, дабы все места значительные по гражданской и военной части были в наших руках. И что ко двору вхожи – пренебрегать отнюдь не следует. Если там услышите что, уведомить нас можете. Вон Федя Глиночка – мы Глинку так зовем – правителем канцелярии у генерал-губернатора, так он сообщает нам все донесения тайной полиции, этим только и спасаемся...

– Да я еще не знаю, принят ли в общество, – удивился Голицын тому простодушию, с которым Рылеев делал его своим шпионом. – Не нужно разве обещания, клятвы какой, что ли?

– Ничего не нужно. Прежде клялись над Евангелием и шпагою; пустая комедия, вроде масонских глупостей. А нынче просто. Вот хоть сейчас: даете слово, что будете верным членом общества?

Голицын удивился еще больше, но неловко было отказывать, и он сказал:

– Даю.

– Ну вот и дело с концом! – крепко пожал ему руку Рылеев. – А насчет княжества – не думайте, что я из тщеславия... Хоть я и дворянский сын, а в душе плебей. Недаром крещен отставным солдатом – бродягой и нищим. Кондратом, мужичьим именем, назван, по крестному. Оттого, должно быть, и люблю простой народ...

Прислушались к общей беседе.

– В наш век поэт не может не быть романтиком; романтизм есть революция в словесности, – говорил драгунский штабс-капитан Александр Бестужев, молодой человек с тою

обыкновенною приятностью в лице, о которых отзываются товарищи: «Добрый малый» – и барышни на Невском: «Ах, душка-гвардеец!» Тоже на мальчика похож: самодовольно пощупывал темный пушок над губою, как будто желая убедиться, растут ли усики. Говорил темно и восторженно.

– Неизмеримый Байрон – вот истинный романтик! Его поэзия подобна Эоловой арфе, на которой играет буря...

– Романтизм есть стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах! – воскликнул молодой человек в штатском платье, коллежский асессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, или попросту Кюхля, русский немец, белобрысый, пучеглазый, долговязый, как тот большой вялый комар, которого зовут *караморой*; лицо странно перекошенное, слегка полоумное, но, если взглядеться, пленительно-доброе.

– Прекрасное есть заря истинного, а истинное – луч Божества на земле, и сам я вечен! – вдохновенно махнул он рукою и опрокинул стакан: был близорук и рассеян, на все натыкался и все ронял.

Заспорили о Пушкине. Как будто желая перекричать споривших, канарейки заливались оглушительно; должны были накрыть клетку платком, чтоб замолчали.

– Пушкин пал, потому что не постиг применения своего таланта и употребил его не там, где следует, – объявил Бестужев, самодовольно пощупывая усики.

– Предпочитаешь Булгарина? – усмехнулся князь Одоевский, конногвардейский корнет, хорошенький мальчик, похожий на девочку, веселый, смешливый, любивший дразнить Бестужева, как и всех говорунов напыщенных.

– А ты что думаешь? – возразил Бестужев. – Фаддей лицом в грязь не ударит. Погоди-ка, Иван Выжигин будет литературы всесветной памятник... А Пушкин ваш – милая сирена, прелестный чародей, не более. Аристократом, говорят, сделался, шестисотлетним дворянством чванится, – маленькое подражание Байрону? Это меня рассмешило. Ума настоящего нет – вот в чем беда. «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата» – о себе, видно, сказал... Зашел к нему как-то приятель: «Дома Пушкин?» – «Почивают». – «Верно, всю ночь работал?» – «Как же, работал! В картишки играл...»

– Талант ничто, главное – величие нравственное, – уныло согласился Кюхля, любивший Пушкина, своего лицейского товарища, с нежностью.

– «Будь поэт и гражданин!» – добил Бестужев Пушкина рылеевским стихом. – Предмет поэзии – полезным быть для света и воспалить в молодых сердцах к общественному благу ревность.

Одоевский поморщился, как от дурного запаха, и уставился на своего противника со школьническим вызовом.

– А знаешь, Бестужев, что сказал Пушкин своему брату Левушке?

– Блевушке-пьянице?

– Ему самому. «Только для хамов – все политическое. *Tout ce qui est politique n'est fait que pour la canaille*»...

– Так значит, и мы хамы, потому что занимаемся политикой?

– Хамы все, кто унижает высокое! – сверкнул на него глазами Одоевский, и в эту минуту был так хорош, что Голицыну хотелось его расцеловать.

– Что выше блага общего? – самоуверенно пожал плечами Бестужев. – И чего ты на стену лезешь? Святой ваш Пушкин, пророк, что ли?

– Не знаю, пророк ли, – вступился новый собеседник, все время молча слушавший, – только знаю, что все нынешние господа сочинители мизинца его не стоят...

С простым и тихим лицом, с простою и тихою речью, Иван Иванович Пуштин между этими пылкими юношами казался взрослым между детьми. Тоже лицейский товарищ Пушкина, покинул он блестящую службу в гвардейском полку для должности губернского

надворного судьи, веруя, что малые дела не меньше великих и что в самом ничтожном звании можно сохранить доблесть гражданскую. Голицын чувствовал в тишине и простоте его что-то иное, на остальных непохожее, невесторженное и правдивое, пушкинское; как будто не случайно было созвучие имен Пущин и Пушкин.

– Мы вот все говорим о деле, а он сделал, – сказал Иван Иванович тихо, просто, но все невольно прислушались.

– Да что же, что сделал? – начинал сердиться Бестужев. – Заладили: Пушкин да Пушкин – только и света в окошке. Ну что он такое сделал, скажите на милость?

– Что сделал? – ответил Пущин. – Научил нас говорить правду.

– Какую правду?

– А вот какую.

Все так же просто, тихо прочел из только что начатой третьей главы «Онегина» разговор Татьяны с нянею.

Когда кончил, все, точно канарейки под платком, притихли.

– Как хорошо! – прошептал Одоевский.

– Да, стих гладок и чувства много, но что же тут такого? – начал было Бестужев и не кончил: все молча посмотрели на него так, что и он замолчал, только презрительно пощупал усики.

Рядом со столовой была гостиная, маленькая комната, отделенная от супружеской спальни перегородкою. Как во всех небогатых гостиных – канапе с шитыми подушками, круглый стол с вязаной скатертью, стенное овальное зеркало, плохонькие литографии Неаполя с извержением Везувия, хрустальные кенкетр с восковыми свечами, ковер на полу с арапом и тигром. У окна пяльцы с начатой вышивкой, голубая белка со спиной в виде лесенки. Плющевой трельяж и клавесин с открытыми нотами романса:

Места, тобою украшенны,  
Где дни я радостьми считал,  
Где взор, тобой обвороженный,  
Мои все чувства улаждал...

Накурено смолкою, но капуста и жуков табак из столовой заглушают смолку.

Наталья Михайловна, жена Рылеева, – совсем еще молоденькая, миловидная, слегка жеманная, не то институтка, не то поповна. И от нее, казалось, как от мужа, пахнет новобрачной или именинной резедою. Платьице – домашнее, но по модной выкройке; бережевый шарфик *тру-тру*, должно быть, задешево купленный в Суровской линии. Прическа тоже модная, но не к лицу – накладные, длинные, вдоль ушей висящие букли. Натали – вместо Наташи. Но по рукам видно: хозяйка; по глазам – добрая мать.

Голицын, Пущин и Одоевский перешли в гостиную. Здесь Наталья Михайловна читала вслух, краснея от супружеской гордости, «Литературный Листок» Булгарина:

«Издатели имели счастье поднести по экземпляру “Полярной Звезды” Их Императорским Величествам, государыням императрицам и удостоились высочайшего внимания: Кондратий Федорович Рылеев получил два бриллиантовых перстня, а Александр Александрович Бестужев – золотую, прекрасной работы табакерку».

– Ну чего еще желать? – усмехнулся Пущин. – Бывало, Тредьяковский, поднося оду императрице, от дверей к трону на коленях полз, а нынче сами императрицы подносят нам подарочки.

Наташа не поняла, покраснела еще больше, не вытерпела, принесла показать футляр с перстнями; хвастала и жаловалась:

– Атя такой чудак, право! Ни за что не хочет носить, а какие алмазы-то! – любовалась игрой камней на солнце.

– Не к лицу республиканцу, что ли? – продолжал усмехаться Пущин.

– Да почему же? Я и сама республиканка, а царскую фамилию боготворю. Особенно императрицы – такие, право, добрые, милые...

– Республика с царскою фамилией?

– А что же? – подняла Натали брови с детским простодушием. – Кондратий Федорович сам говорит: республика с царем вместо президента, как в Северо-Американских Штатах...

– Натали, не болтай вздора! – крикнул издали Рылеев.

В столовой спорили о двухпалатной системе, о прямых и косвенных выборах в будущий русский парламент. Рылеев что-то доказывал и кричал, стучал кулаками по столу.

– Ну вот, опять! Ах, несносный какой! – оглянулась на него Натали с насмешливой нежностью. – Намедни так же вот заспорил, закричал, застучал кулаками, не захотел ничего слушать да без шапки на двор по морозу и выбежал. Просто беда!

– О чем же? О республике с царской фамилией?

– Не помню, право. Все о пустяках: выеденного яйца не стоит, а он горячится...

Улыбка Пущина сделалась печальной и кроткой.

– А что, Настенька все еще кашляет?

– Нет, слава Богу, прошло. А уж боялась-то я как! Коклюш, говорят, по городу ходит. Сегодня гулять вышла. Трофим обещал из деревни живого зайчика. Ждем не дождемся, – ответила уж не пустенькая Натали, а умная и добрая Наташа.

В укромном уголку за трельяжем беседовала парочка: капитан Якубович и девица Теляшева, Глафира Никитична, чухломская барышня, приехавшая в Петербург погостить, поискать женихов, двоюродная сестра Наташина.

Якубович, «храбрый кавказец», ранен был в голову; рана давно зажила, но он продолжал носить на лбу черную повязку, щеголял ею, как орденской лентою.

Славился сердечными победами и поединками; за один из них сослан на Кавказ. Лицо бледное, роковое, уж с печатью байронства, хотя никогда не читал Байрона и едва слышал о нем.

Перелистывал Глашенькин альбом с обычными стишками и рисунками. Два голубка на могильной насыпи:

Две горлицы укажут  
Тебе мой хладный прах.

Амур, над букетом порхающий:

Пчела живет цветами,  
Амур живет слезами.

И рядом – блеклыми чернилами, старинным почерком: «О, природа! О, чувствительность!..»

– Вы, господа кавалеры, считаете нас, женщин, дурами, – бойко лепетала барышня, – а мы умом тоньше вашего: веку не станет мужчине узнать все наши женские хитрости. Мужчину в месяц можно узнать, а нас никогда...

– Ваша правда, сударыня, – любезно говорил капитан, поводя черными усами, как жук. – Вся натура женская есть тончайший флер, из неприметных филаментов сотканный. Легче найти философский камень, нежели разобрать состав вашего непостоянного пола...

– Почему же непостоянного? И мы умеем верно любить. Хотя наш пол, разумеется, не то что ваш: всякая женщина должна обвиваться вокруг кого-нибудь, вот как этот плющ, а без опоры вянет, – вздохнула Глафира, указывая на трельяж и томно играя узкими калмыцкими глазками с пушистыми ресницами, кидавшими тень на розово-смуглое личико. Ей двадцать восемь лет; еще год-другой – и отцветет; но пока пленительна тою общедоступною прелестью, на которую так падки мужчины.

– Ну, полно! Расскажите-ка лучше, капитан, как вы на Кавказе сражались...

Якубович не заставил себя просить: любил порассказать о своих подвигах. Слушая, можно было подумать, что он один завоевал Кавказ.

– Да, поела-таки сабля моя живого мяса, благородный пар крови курился на ее лезвии! Когда от пули моей падал в прах какой-нибудь лихой наездник, я с восхищением вонзал шашку в сердце его и вытирал кровавую полосу о гриву коня...

– Ах, какой безжалостный! – млела Глашенька.

– Почему же безжалостный? Вот если бы такое беззащитное создание, как вы...

– И неужели не страшно? – перебила она, стыдливо потупившись.

– Страх, сударыня, есть чувство, русским незнакомое. Что будет, то будет – вот наша вера. Свист пуль стал для нас наконец менее, чем ветра свист. Шинель моя прострелена в двух местах, ружье – сквозь обе стенки, пуля изломала шомпол...

– И все такие храбрые?

– Сказать о русском «он храбр» – все равно что сказать «он ходит на двух ногах».

Не родился тот на свете,  
Кто бы русских победил! —

патриотическим стишком подтвердила красавица.

Одоевский, подойдя незаметно к трельяжу, подслушивал и, едва удерживаясь от смеха, подмигивал Голицыну. Они познакомились и сошлись очень быстро.

– И этот – член общества? – спросил Голицын Одоевского, отходя в сторону.

– Да еще какой! Вся надежда Рылеева. Брут и Марат вместе, наш главный тираноубийца. А что, хорош?

– Да, знаете, ежели много таких...

– Ну *таких*, пожалуй, немного, а *такого* много во всех нас. Чухломское байронство... И каким только ветром надуло, черт его знает! За то, что чином обошли, крестика не дали,

Готов царей низвергнуть с тронов  
И Бога в небе сокрушить, —

как говорит Рылеев. Скверно то, что не одни дураки подражают и завидуют Якубовичу: сам Пушкин когда-то жалел, что не встретил его, чтобы списать с него Кавказского пленника...

Подошли к Пущину. Когда тот узнал, о чем они говорят, усмехнулся своею тихою усмешкою.

– Да, есть-таки в нас во всех эта дрянь. Болтуны, сочинители Репетиловы: «шумим, братец, шумим!» Или как в цензурном ведомстве пишут о нас: «упражняемся в благонравной словесности». А господа словесники, сказал Альфиери, более склонны к умозрению, нежели к деятельности. Наделала синица славы, а моря не зажгла...

И прибавил, взглянув на Голицына:

– Ну да не все же такие, есть и получше. Может быть, это не дурная болезнь, а так только, сыпь, как на маленьких детях: само пройдет, когда вырастем...

Все трое вернулись в столовую. Там князь Трубецкой, лейб-гвардии полковник, рябой, рыжеватый, длинноносый, несколько похожий на еврея, с благородным и милым лицом, читал свой проект конституции:

– «Предложение для начертания устава положительного образования, когда Его Императорскому Величеству благоугодно будет»...

– После дождичка в четверг! – крикнул кто-то.

– Слушайте! Слушайте!

– «...благоугодно будет с помощью Всевышнего учредить» Славяно-Русскую империю. Пункт первый: опыт всех народов доказал, что власть неограниченная равно гибельна для правительства и для общества; что ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка не согласна она; русский народ, свободный и независимый, не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства...»

С первым пунктом согласны были все; но по второму, об ограничении монархии, заспорили так, что Трубецкому уже не пришлось возобновлять чтения. Все говорили вместе, и никто никого не слушал: одни стояли за монархию, другие – за республику.

– Русский народ, как бы сказать не соврать, не поймет республики, – начал инженерный подполковник Гаврила Степанович Батенков.

Он еще не был членом общества, собирался вступить в него и все откладывал. Но ему верили и дорожили им за редкую доблесть: в походе 1814 года, в сражении при Монмирале, так долго и храбро держался на опаснейшей позиции, что окружен был неприятелем, получил десять штыковых ран, оставлен замертво на поле сражения и взят в плен. В штабном донесении сказано: «Потеряны две пушки с прислугою от чрезмерной храбрости командовавшего ими офицера Батенкова». Был домашним человеком у Сперанского, который любил его за отличные способности; служил у Аракчеева в военных поселениях, но хотел выйти в отставку. Превосходный инженер, глубокий математик, «Наш министр», – говорили о нем в обществе.

Сутул, костляв, тяжел, неповоротлив, медлителен, в тридцать лет старообразен и, подобно Пушкину, в этом собрании как взрослый между детьми. Высокий лоб, прямой нос, выдающийся подбородок, сосредоточенный, как бы внутрь обращенный взгляд. Говорил с трудом, точно тяжелые камни ворочал. Курил трубку с длинным бисерным чубуком и, усиленно затягиваясь, казалось, недостающие слова из нее высасывал.

– Русский народ не поймет республики, а если поймет, то не иначе, как боярщину. Одни церковные ектеньи<sup>1</sup> не допустят нас до республики... Да и не впору нам никакие конституции. Императрица Екатерина II правду сказала: не родился еще тот портной, который сумел бы скроить кафтан для России...

– Говорите прямо: вы против республики? – крикнул Бестужев, который побаивался и недолюбливал Батенкова.

– Да, значит, того... как бы сказать не соврать, – опять заворочал свои тяжелые камни Батенков, – по особливому образу мыслей моих, я не люблю республик, потому что угнетаются оные сильным деспотичеством законов. А также, по некоторым странностям в моих суждениях, я воображаю республики Заветом Ветхим, где проклят всяк, кто не пребудет во всех делах закона; монархии же – подобием Завета Нового, где государь, помазанник Божий, благодать собою представляет и может добро творить, по изволению благодати. Самодержец великие дела безнаказанно делает, каких никогда ни в какой республике по закону не сделать...

– Если вам самодержавие так нравится, зачем же вы к нам в общество вступили?

---

<sup>1</sup> Ектенья (*греч.*, распространение) – название ряда молитвенных прошений (ектенья великая, малая, просительная, сугубая и т. д.).

– Не вступил, но, может, и вступлю... А зачем? Затем, что самодержавия нет в России, нет русского царя, а есть император немецкий... Русский царь – отец, а немец – враг народа... Вот уже два века, как сядят у нас немцы на шею... Сперва немцы, а там жида... С этим, значит, того, как бы сказать не соврать, прикончить пора...

– Верно, верно, Батенков! Немцев долой! К черту немцев! – закричал Кюхельбекер восторженно.

– Да ты-то, Кюхля, с чего, помилуй? Сам же немец... – удивился Одоевский.

– Коли немец, так и меня к черту! – яростно вскочил Кюхельбекер и едва не стащил со стола скатерть со всею посудой. – А только в рожу я дам тому, кто скажет, что я не русский!..

– Поймите же, государи мои, ход Европы – не наш ход, – выкатил насилу Батенков свой самый тяжелый камень, – история наша требует мысли иной; Россия никогда ничего не имела общего с Европою...

– Так-таки ничего? – улыбнулся Пущин.

– Ничего... то есть в главном, значит, того, как бы сказать не соврать, в самом главном... ну, в пустяках – о торговле там, о ремеслах, о промыслах речи нет...

– И просвещение – пустяки?

– Да, и просвещение – перед самым главным.

– Все народное – ничто перед человеческим! – заметил Бестужев.

Батенков только покосился на него угрюмо, но не ответил.

– Да главное-то, главное что, позвольте узнать? – накинулись на него со всех сторон.

– Что главное? А вот что, – затянулся он из трубки так, что чубук захрипел. – Русский человек – самый вольный человек в мире...

– Вот тебе на! Так на кой нам черт конституция? Из-за чего стараемся?

– Я говорю вольный, а не свободный, – поправил Батенков. – Самый рабский и самый вольный; тела в рабстве, а души вольные.

– Дворянские души, но не крепостные же?

– И крепостные, все едино...

– Вы разумеете вольность первобытную, дикую, что ли?

– Иной нет; может быть, и будет когда, но сейчас нет.

– А в Европе?

– В Европе – закон и власть. Там любят власть и чтут закон; умеют приказывать и слушаться умеют. А мы не умеем, и хотели бы, да не умеем. Не чтим закона, не любим власти – да и шабаш. «Да отвяжись только, окаянный, и сгинь с глаз моих долой!» – так-то в сердце своем говорит всякий русский всякому начальнику. Не знаю, как вам, государи мои, а мне терпеть власть, желать власти всегда были чувства сии отвратительны. Всякая власть надо мной – мне страшилище. По этому только одному и знаю, что я русский, – обвел он глазами слушателей так искренно, что все вдруг почувствовали правду в этих непонятных и как будто нелепых словах. Но возмутились, возражали...

– Что вы, Батенков, помилуйте! Да разве у нас не власть?..

– Ну, какая власть? Курам на смех. Произвол, безначалие, беззаконие. Оттого-то и любят русские царя, что нет у него власти человеческой, а только власть Божья, помазанье Божье. Не закон, а благодать. Этого не поймут немцы, как нам не понять ихнего. А это – главное, это – все! Россия, значит, того, как бы сказать не соврать, только притворилась государством, а что она такое, никто еще не знает... Не правительство правит у нас, а Никола-угодник...

– И Аракчеев?

– Аракчеев с благодатью?

– Не оттого ли и служите в военных поселениях, что там благодать?

Но Батенков не замечал насмешек, как будто не слышал; тяжело и неповоротливо следовал только за собственной мыслью; разгорался медленно, и казалось, что перед этим тяжелым жаром легкий пыл прочих собеседников – как соломенный огонь перед раскаленным камнем.

Помолчал, задумался, затаился, набрал дыму в рот и выпустил кольцами.

– Все, что в России хорошо, – по благодати, а что по закону – скверно, – заключил, как будто любясь окончательной ясностью мысли: видно было – математик.

– Какая подлость, какая подлость! – послышался вдруг негодующий окрик.

Там, в углу у печки, стоял молодой человек с невзрачным, голодным и тощим лицом, обыкновенным, серым, точно пыльным лицом захолустного армейского поручика, с надменно оттопыренной нижней губой и жалобными глазами, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина. Поношенный черный штатский фрак, ветхая шейная косынка, грязная холстинная сорочка, штаны обтрепанные, башмаки стоптанные. Не то театральный разбойник, не то фортепианный настройщик. «Пролетар» – словечко это только что узнали в России.

В начале спора он вошел незаметно, почти ни с кем не здороваясь; с жадностью набросился на водку и кулебяку, съел три куса, запил пятью рюмками; отошел от стола и как стал в углу у печки, скрестив руки по-наполеоновски, так и простоял, не проронив ни слова, только свысока поглядывая на спорщиков и усмехаясь презрительно.

– Кто это? – спросил Голицын Одоевского.

– Отставной поручик Петр Григорьевич Каховский. Тоже тираноубийца. Якубович – номер первый, а этот – второй.

Когда Каховский крикнул: «Какая подлость!», все оглянулись и наступила тишина. Думали, Батенков обидится. Но он проговорил спокойно и задумчиво, как будто продолжая следовать за своею собственной мыслью:

– Правильно, сударь, заметить изволили: превеликою сие может быть подлостью; подлость одна и есть нынче в России. Но не всегда же было так. Для того и нужна революция, чтобы снова неподлым стало...

– Ну чего, брат, канитель-то тянуть, – возмутился наконец Рылеев. – Скажи-ка лучше попросту: за царя ты, что ли?

– За царя? Нет, то есть, значит, того, как бы сказать не соврать, если и за царя, то не за такого, как нынешний. Истинный-то царь – все равно что святой; душу свою за народ полагает; страстотерпец и мученик; сам от царства отрекается. Богу всю власть отдает, народ освобождает... А этот что?

– Да ведь и этот, – возразил Рылеев, – в Священном-то Союзе, помнишь. «Все цари земные слагают венцы свои у ног единого Царя Христа Небесного...»

– Великая, великая мысль! Величайшая! Больше сей мысли и нет на земле и не будет вовеки. Только исподлили, изгадили мерзавцы так, что разве самому Меттерниху или черту под хвост. За это их убить мало! – потряс он кулаком с внезапной яростью, и по лицу его в эту минуту видно было, что он мог потерять всю команду с пушками от чрезмерной храбрости.

– А коли так, – засмеялся Рылеев, – нам все равно: царь так царь. Кто ни поп, тот и батька. Только бы революцию сделать!

Батенков умолк и сердито выбил пепел из потухшей трубки, как будто сам потух; увидел, что никто ничего не понимает.

Одни смеялись, другие сердились.

– Темна вода во облацех!

– Министр-то наш, кажется, того, сбрендил!

– Какие-то масонские таинства!

– Уши вянут!

– Ермалафия!

– За царя, да без царя в голове! Этак и вправду, пожалуй, революции не сделаешь...

– Шпион, как же вы, господа, не видите? Просто аракчеевский шпион! – шептал соседям на ухо Бестужев, сам не веря и зная, что другие не поверят.

А между тем все продолжали чувствовать, что есть у Батенкова что-то, чего не победишь смехом.

Один только Голицын понял: парижские беседы с Чаадаевым о противоположном подобии двух вечных двойников – русского царя и римского первосвященника – вспомнились ему, и вдруг со дна души поднялось все тайное, страшное, что давно уже мучило его, как бред. Знал, что говорить не надо, – все равно никто ничего не поймет... Но что-то подступило к горлу его, захватило неудержимым волнением. Он встал, подошел к Батенкову и проговорил слегка дрожащим голосом:

– Давеча Каховский назвал это подлостью; но это хуже, чем подлость...

– Хуже, чем подлость? – посмотрел на него Батенков, опять без обиды, только с недоумением и любопытством.

– Что может быть хуже подлости? – спросил кто-то.

– Кошунство, – ответил Голицын.

– В чем же тут, как бы сказать не соврать, полагаете вы кошунство? – продолжал любопытствовать Батенков.

– Царя Христом делаете, человека – Богом. Может быть, и великая, но чертова, чертова мысль! Кошунство кошунств, мерзость мерзостей!..

Вдруг замолчал, оглянулся, опомнился. Губы скривились обычною усмешкою, злою не к другим, а к себе; живой огонь глаз покрыли очки мертвенным поблескиванием стеклышек; сделался похож на Грибоедова в самые насмешливые минуты его. «С чего это я?» – подумал с досадою. Было стыдно, как будто чужую тайну выдал.

А Батенков в не меньшем волнении, чем он, опять задвигался, зашевелился неуклюже-медлительно, как будто тяжелые камни ворочал.

– Может быть, тут и правда есть, как бы сказать не соврать... Я и сам думал... Ну да мы еще с вами потолкуем, если позволите.

Хотел что-то прибавить, но не успел: поднялся общий говор и смех.

– Неужели вы о черте серьезно? – спросил Бестужев.

– Серьезно. А что?

– В черта верите?

– Верю.

– С рогами и с хвостом?

– Вот именно.

– Тут, по-вашему, он и сидит?

– Пожалуй, что так.

– Ну, поздравляю, черта за хвост поймали!

– Договорились до чертиков!

Из гостиной вышел Якубович, прислушался и вдруг вспылал неизвестно на кого и на что; должно быть, как всегда, обиделся умным разговором, в котором не мог принять участия.

– Нам о деле нужно, а мы черт знает о чем...

– Слушайте! Слушайте!

– О каком же деле?

– А вот о каком. Государь всему злу есть первая причина, а посему, ежели хотим быть свободными...

– Ну полно, брат, полно. Знаем, что ты молодец, – успокаивал его Рылеев.

– Закройте хоть форточку, а то квартальный услышит! – смеялся Одоевский.

– Ничего, – подумает, что мы переводим из Шиллера, упражняемся в благонаправленной словесности.

– Если хотим быть свободными, – продолжал Якубович, не слушая и выкрикивая с таким же неестественным жаром, как давеча о своих кавказских подвигах, – то прежде всего истребить надо...

– Папенька! Папенька! Лед пошел! – закричала, вбегая в комнату с радостным визгом, Настенька, маленькая дочка Рылеева, такая же смугленькая и востроглазая, как он. – На Неве-то как хорошо, папенька! Мосты развели, народу сколько, пушки палят, лед пошел! Лед пошел!

Так и не досказал Якубович, кого надо истребить. Все занялись Настенькой. Батенков наклонился, расставил руки, поймал ее, обнял и защекотал.

– Сорока-воровка, кашку варила, на порог скакала, гостей созывала, этому дала, этому дала...

– А вот и не боюсь, не боюсь! – отбивалась от щекотки Настенька. – Батя, а Батя, спойка Совочку...

Батенков присел перед ней на корточки, съежился, нахохлился, сделал круглые глаза и запел сначала тоненьким, а потом все более густым, грубым голосом:

Сидит сова на печи,  
Крыльшками трешпочи;  
Оченьками лоп-лоп:  
Ноженками топ-топ...

И хлопал себя руками по ляжкам, точно крыльями, и притопывал ногами тяжело, неповоротливо, медлительно, так что в самом деле похож был на большую птицу.

Настенька тоже прыгала, топала и хлопала в ладоши, заливаясь пронзительно-звонким смехом.

Когда кончил песенку, схватил ее в охапку, поднял высоко над головой – сова полетела – и опустил на пол. Девочка прижалась к нему ласково.

– Дядя – бука! – указала вдруг на Якубовича, который свирепо поправлял черную повязку на лбу, неестественно вращал глазами, делал роковое лицо и действительно был так похож на «буку», что все расхохотались.

Якубович еще свирепее нахмурился, пожал плечами и, ни с кем не прощаясь, вышел.

Рылеев увел Голицына в кабинет.

– Ну что, как? Нравится вам у нас?

– Очень.

– А только молодо-зелено? Детки шалят, деток – розгою? Так, что ли?

– Я этого не говорю, – невольно улыбнулся Голицын тому, что Рылеев так верно угадал.

– Ну все равно думаете, признайтесь-ка... Да ведь что поделаешь? Русский человек, как тридцать лет стукнет, ни к черту не годен. Только дети и могут сделать у нас революцию. А насчет розги... Вы где воспитывались?

– В пансионе аббата Никола.

– Ну так, значит, березовой каши не отведали. А нас, грешных, в корпусе как Сидоровых коз драли. Меня особенно: шалун был, сорванец-мальчишка. А ничего, обтерпелся. Лежишь, бывало, под розгами, не пикнешь – только руки искусаешь до крови, а встанешь на ноги и опять нагрубишь вдвое. Убей – не боюсь. Вот это бунт так бунт! Так бы вот надо и с русским правительством... Вся революция в одном слове: дерзай!

– А у вас лампадки везде, – сказал Голицын, заметив здесь, в кабинете, так же как в столовой и гостиной, затепленную лампадку перед образом.

– Да, жена любит. А что?

Голицын ничего не ответил, но Рылеев опять угадал.

– Мне все равно – лампадки. Я в Бога не верую. А впрочем не знаю. Мало думал. Что за гробом, то не наше. Но кажется, есть что-то такое... А вы?

– Я верю.

– То-то вы о черте давеча... А зачем?

– Что зачем?

– Да вот верить?

– Не знаю. Но кажется, без этого нельзя ничего...

– И революцию нельзя?

– И революцию.

– Ну а я хоть не верю, а вот вам крест – через два года революцию сделаем!

Жуткий огонь сверкнул в глазах его, а упрямый на затылке хохол торчал все так же детски-беспомощно, как у сорванца-мальчишки в корпuse.

– Зайчик! Зайчик! Зайчик! – послышался опять из столовой радостный Настенькин визг.

Староста Трофимыч принес на кухню обещанного зайчика. Он вырвался у Настеньки, игравшей с ним, и побежал по комнатам. Она ловила его и не могла поймать. Спрятался в столовой под стол. Поднялась суматоха. Кюхля ползал по полу длинноногой караморой, залез под скатерть, задел за ножку стола, едва не опрокинул, растянулся, а зайчик, перепрыгнув через голову его, убежал в гостиную и шмыгнул под Глашенькин подол. Она подобрала ножки и завизжала, пронзительно. В суматохе свалилась шаль с клетки; канарейки опять затрещали неистово, как будто стараясь перекричать и оглушить всех. В открытую форточку слышался воскресный благовест, как песнь о вечной свободе – весенний, веселый звон разбитых льдов.

«Милые дети! – думал Голицын. – Кто знает? Может быть, так и надо? Вечная свобода – вечное детство?..»

Солнце кидало на пол косые светлые четырехугольники окон с черною тенью как будто тюремных решеток. И ему казалось, что свобода – как солнце, а рабство – как тень от решеток: через нее даже Настины детские ножки переступают с легкостью.

## Глава вторая

Рылеев и Бестужев, сидя у камелька в столовой, той самой, где происходили русские завтраки, разговаривали о делах тайного общества.

Дрова в камельке трещали по-зимнему, и зимний ветер выл в трубе. Из окон видно было, как на повороте Мойки, у Синего моста, срывает он шапки с прохожих, вздувает парусами юбки баб и закидывает воротники шинелей на головы чиновников.

Первый ледоход, невский, кончился, и начался второй, ладожский. Задул северо-восточный ветер; все, что растаяло, замерзло опять; лужи подернулись хрупкими иглами; замжилась ледяная мжица, закурилась низким белым дымком по земле, и наступила вторая зима, как будто весны не бывало.

Но все же была весна. Иногда редели тучи, полыньями сквозь них голубело, зеленело, как лед, прозрачное небо; пригревало солнце, таял снег; дымились крыши; мокрые, гладкие, лоснились лошадиные спины, точно тюленьи. И уличная грязь сверкала вдали серебром ослепительным. Все – надвое, и канарейки в клетке чирикали надвое: когда зима – жалобно, когда весна – весело.

– Никто ничего не делает, – говорил Рылеев в одном из тех припадков уныния, которые бывали у него часто и проходили так же внезапно, как наступали. – А ведь надо же что-нибудь делать. Начинать пора...

– Да, пора начинать, – сказал Бестужев, потягиваясь и удерживая зевоту. Не выспался: сначала – карты в клубе, потом – тройки в Екатерингоф, и в Желтом кабачке – вею ночь с цыганками. Не о делах бы теперь, а выпить с похмелья да порассказать о ночных похождениях.

Бестужев был добрый малый: в самом деле, добрый товарищ, храбрый офицер и остроумный писатель, сотрудник «Полярной Звезды». Но в заговор попал, как кур в ошип, – из мальчишеского ухарства, байронства, подражания Якубовичу; играл в заговорщики, как дети играют в разбойники. Но начинал понимать, что игра опасна; все чаще подумывал, как бы, не изменяя слову, выйти из общества, летом женится в Москве и уедет за границу.

«Теперь еще куда ни шло, буди воля Божья, – мечтал наедине, – но если женюсь, ни за что не останусь в обществе, хоть расславь меня по всему свету чем хочешь!»

– Да, пора начинать! – повторил он с особенным жаром под испытующим взором Рылеева, отвернувшись, поправил щипцами огонь в камельке и торопливо, деловито прибавил: – А Пестель, говорят, уже здесь...

– Пестель? Быть не может! Чего ж он прячется, глаз не кажет? – удивился Рылеев.

– Бойтся, что ли? – продолжал Бестужев. – Следят за ним очень. У самого государя на примете. Да и за нами, чай, следят. Проходу нет от шпионов. Глиночка-то намедни, помнишь, говорил: «Смотрите в оба!» А ведь вот и Пестель начинает торопить: в южной армии дела будто в таком положении, что едва можно удерживать: довольно одной роте взбунтоваться, чтобы само началось. Предлагает нам соединиться с южными...

– Было бы кому соединяться! – горько усмехнулся Рылеев.

– Да, людей мало, – подтвердил Бестужев и с тем же преувеличенным жаром прочел стихи Рылеева:

Всюду встречи безотрадные;  
Ищешь, суетный, людей, —  
А встречаешь трупы хладные  
Иль бессмысленных детей.

– Да, трупы холодные, – вздохнул Рылеев и опустил голову. – Ты что думаешь, Саша: других обличаю, а сам?.. Нет, брат, знаю: и сам – подлец! За жену, за дочку, за теплый угол да за звучный стих отдам все – все свободы. А Якубович – тот за свою злобу. Каховский – за свою славу, Пущин – за свою честь, Одоевский – за свою шалость...

– А я?

– А ты – за картишки, за девчонок, за аксельбанты флигель-адъютантские... Ну да что говорить, все хороши! В Писании-то, помнишь, сказано: никто же, возложь руку свою на рало и зря вспять, управлен есть в Царствие Божие. А мы все зрим вспять. Щелкоперы, свистуны, фанфаронишки; наговорим с три короба, а только цыкни – и хвост подождем... Эх, Саша, Саша, знаешь, брат?.. все мне кажется: осраимся, в лужу сядем, ничего у нас не выгорит, ни черта лысого! Не по силам берем, руки коротки. Наделала синица славы, а моря не зажгла – правду говорит Пущин...»

Положил руку на плечо Бестужева и произнес торжественно, с тем невольным актерством, в которое все они впадали, как бы ни были искренни:

– И на твоём челе, Александр, я читаю противное благу общества!

– Да ну же, полно, брось, говорят! Это ведь, душа моя, из «Разбойников» Шиллера. И что на меня-то валить, с больной головы на здоровую? Вы все – мечтатели, а я – солдат: гожусь не рассуждать, а действовать. Начинать так начинать. По мне, хоть сейчас! – с тем же актерством ответил и Бестужев.

И не хотел, и знал, что не надо говорить, да само говорилось. Но если лгал, то не совсем: как хорошему актеру, стоило ему вообразить, что он что-нибудь чувствует, для того чтобы действительно почувствовать; а иной раз бывали и чувства противоположные, и он сам тогда не знал, какое настоящее.

– Нет, сейчас нельзя, – начал Рылеев уже другим, повеселевшим голосом: как всегда, облегчив сердце в жалобе, ободрился. – Сейчас нельзя. А вот будущей весной, на майском параде или на петергофском празднике, летом, что ли?.. Якубовича бы можно хоть сейчас с цепи спустить – у него рука не дрогнет. Да боюсь: беды наделает, сразу вооружит всех против общества...

– Берегись, Рылеев: твой Каховский хуже Якубовича. Намедни опять в Царское ездил...

– Врешь!

– Спроси самого... Государь нынче, говорят, все один, без караула, в парке гуляет. Вот он его и выслеживает, охотится. Ну долго ли до греха? Ведь ни за что пропадем... Образумил бы его хоть ты, что ли?

– Образумишь, как же! – проговорил Рылеев, пожимая плечами с досадой. – Намедни влетел ко мне как полоумный, едва поздоровался да с первого же слова – бац: «Послушай, говорит, Рылеев, я пришел к тебе сказать, что решил убить царя. Объяви Думе, пусть назначит срок...» Лежал я на софе, вскочил как ошпаренный: «Что ты, что ты, говорю, сумасшедший! Верно, хочешь погубить общество...» И так и сяк. Куда тебе! Уперся, ничего не слушает. Вынь да положи. Только уж под конец стал я перед ним на колени, взмолился: «Пожалей, говорю, хоть Наташу да Настеньку!» Ну, тут как будто задумался, притих, а потом заплакал, обнял меня: «Ну, говорит, ладно, подожду еще немного...» С тем и ушел. Да надолго ли?

– Вот навязали себе черта на шею! – проворчал Бестужев. – И кто он такой? Откуда взялся? Упал как снег на голову. Уж не шпион ли, право?

– Ну с чего ты взял, какой шпион! Малый пречестный. Старой польской шляхты дворянин. И образованный: к немцам ездил учиться, в гвардии служил, французский поход сделал, да за какую-то дерзость переведен в армию и подал в отставку. Именьице в Смоленской губернии. В картишки продул, в пух разорился. На греческое восстание собрался, в Петер-

бург приехал, да тут и застрял. Все до нитки спустил, едва не умер с голоду. Я ему кое-что одолжил и в общество принял...

Раздался звонок в передней, голос Каховского и казачка Фильки:

– Дома барин?

– Дома, пожалуйте.

– Никак, он? – прислушался Рылеев. – Он и есть, легок на помине.

Еще более голодный, испитой, оборванный, чем в день русского завтрака, вошел Каховский и поздоровался, по обыкновению молча, свысока, двумя пальцами, как будто из милости. Присел к огню; грел озябшие руки и сушил на каминной решетке свои рваные, облепленные грязью сапоги рядом с щегольскими, лакированными флигель-адъютантскими ботфортами Бестужева.

– Что, Петя, озяб? Хочешь закусить? – прервал неловкое молчание Рылеев.

Каховский не ответил, только сердито и болезненно, как от озноба, передернул плечами.

– Еду завтра. Прощайте.

– Куда?

– В Смоленск.

– С чего ты вздумал?

– А что мне тут с вами? Как собака живу, голодаю, побираюсь, обносился весь, сапог вон купить не на что. А вы когда-то еще...

– Скоро, Петя, скоро. Только не от нас ведь это зависит...

– От кого же?

– От Верховной Думы. Как она решит...

– Невидимые Братья?

– Ну да, и они. Мы ведь с тобою не более как рядовые в обществе, сам знаешь.

– Ничего не знаю и знать не хочу! Наплевать мне на Думу! Секреты какие-то масонские. Невидимые Братья! Людей только морочите, за нос водите... Да чем я хуже ваших Невидимых Братьев, черт их дери! Что отставной армеец, голоштанник, нищий, пролетар – так и чести нет, что ли? Да, пролетар! – ударяя себя в грудь, повторил он это новое словечко с особенной гордостью. – Пролетар, а честью моей дорожу не менее ваших сопливых дворянчиков, гвардейских шаромыжников, князьков да камер-юнкеров, придворной сволочи!

– Чего же ты ругаешься? Никто твоей чести не трогает. А уходить вздумал, ну и с Богом, держать не будем, и без тебя много желающих. Ты вот все о чести, а найдутся люди, которые для блага общего не только жизнью, но и честью пожертвуют...

– Кто же это? Кто? – побледнел и вскочил Каховский как ужаленный. – Уж не Якубович ли?

– А хотя бы и он...

– Шут гороховый!

– Ты так завистлив, душа моя, что осуждаешь все, чего сам не можешь.

– Не могу – низости...

– Какая же низость?

– Мщенье оскорбленного безумца – низость, подлость! А под видом блага общего – еще того подлее. Пойти убить царя не штука, на это всякого хватит. Но надо право иметь, слышишь, право!

– Право на убийство?

– Не убийство тут, а другое... может быть, и хуже убийства, да совсем, совсем другое...

Только не понимаете вы... Никто ничего не понимает. О Господи, Господи...

Вдруг опустил на стул, закрыл глаза, и лицо его помертвело.

– Что с тобою, Петя? Нездоровится?

– Нет, ничего, пройдет. Голова кружится. Дай воды или стакан вина...

Как всегда перед завтраком, в столовой Рылеева пахло чем-то вкусным, жареным. Каховского тошнило от голода и от этого запаха.

Рылеев догадался, сбежал на кухню, принес тарелку щей с мясом и графин водки. Когда тот кончил есть – повел его в кабинет.

– Послушай, Петя, ну как тебе не стыдно: голодаешь, а денег не берешь, ну разве так друзья поступают, а?

Отпер конторку.

– Если не хочешь обидеть меня... вот тут, кажется, двести... – совал ему в руку синенькую пачку ассигнаций.

– Куда мне столько? – отвертывался Каховский; оттопыренная нижняя губа еще дрожала. – Хозяйке бы только, да в лавочку, да вот еще портному Яухци. Пристает жид проклятый, каждый день шляется, в яму посадить грозит...

Портному Яухци заказан был военный мундир; по настоянию Рылеева Каховский согласился поступить снова на службу и подал прошение в Елецкий пехотный полк.

Наконец взял деньги, не считая, и торопливо, неловко сунул пачку в боковой карман брюк, точно кисет с табаком.

– Мундир-то готов? – спросил Рылеев.

– Готов.

– Ну и ладно. Не к лицу тебе фрак: в мундире будешь виднее, и легче действовать... А насчет крестьян как же? – прибавил, подумав. – Продад бы их, что ли? По пятисот нынче за душу. Тринадцать-то душ – деньги тоже, на улице не валяются. Я бы тебе живо устроил: у меня и в палате заручка...

– Да нет, где уж... Заложены, процентов давно не платил, уж, чай, и просрочены, – солгал Каховский и покраснел мучительно: не заложил, а проиграл эти последние тринадцать душ родового наследия в карты какому-то шулеру на Лебедянской ярмарке.

– Ну так, значит, мир, Петя, голубчик, а? Не сердись? – сказал Рылеев, пожимая ему руку и заглядывая в лицо со своею милою, мальчишескою улыбкою.

Но тот все еще отвертывался, не смотрел ему в глаза и думал: «Где уж сердиться, коли деньги взял?» Каждый раз, когда брал их, испытывал такое чувство, как будто собственную душу свою черту проигрывал.

– Не сержусь, Атя, нет... За что же?... А только скверно, иной раз так на душе скверно, что хоть пулю в лоб. Не могу я больше, не могу, мочи моей нет!..

– Ну полно, полно, – видимо, о другом думая, утешал его Рылеев, – ведь уж недолго теперь, потерпи как-нибудь... А в Царское зачем ездил?

– В Царское? Сам знаешь... Эх, брат, ведь только прицелиться. В десяти шагах. Один-одинешенек. Точно дразнит...

– Да ведь сам говоришь: убить не штука, а надо, чтобы...

– Ну да уж знаю, знаю. А только не могу больше... Господи! Господи! Когда же?

– Да говорю же – скоро. Ну вот, ей-богу, вот тебе крест! – перекрестился Рылеев на образ точно так же, как наемни в беседе с Голицыным. – Ты, ты один – и больше никого! Так и знай. И Думу о том известим и срок назначим. Ты достоин... я же знаю, Петя, милый, ты один достоин..

В глазах Каховского загорелось что-то, как блеск отточенной стали. А Рылеев смотрел на него, как точильщик, который пробует нож: остер ли? Да, остер.

Бестужев при начале беседы вышел в гостиную, чтобы не мешать; потом, когда они ушли в кабинет, вернулся в столовую, присел к огню, закурил было трубку, но уронил ее на пол и задремал. Видел во сне, будто мечет банк, загребают кучи золота, а цыганка Малярка сидит у него на коленях, щекочет, смеется, путает игру. Проснулся с досадою, не кончив при-

ятного сна, когда вышли из кабинета Каховский с Рылеевым. Рылеев посмотрел на часы: ему надо было зайти в правление Российско-Американской компании перед завтраком. Собрался и Бестужев, вспомнив о предстоящем визите к тетушке-имениннице.

– Подвезти вас, Каховский?

– Благодарю, я привык пешком. Да и не по дороге нам.

Бестужев отвел его в сторону, так, чтобы Рылеев не слышал.

– Прошу вас, поедemте, мне нужно с вами поговорить о делах общества.

– Ну что ж, поедem, – сказал Каховский, посмотрев на него с удивлением: они друг друга недолго любили и о делах никогда не говорили.

Вышли вместе. Каховский надел широкополую черную карбонарскую шляпу и странный, легкий, точно летний, плащ-альмавиву, сделавшись в этом наряде еще более похож не то на театрального разбойника, не то на фортепианного настройщика.

У подъезда ждала флигель-адъютантская коляска Бестужева, щегольская, английская, на высоком ходу; кучер лихой, в шляпе с павлиньими перьями; пристыжная лебедкою. Двоим тесно; Бестужев сел боком, неловко: «гвардейский шаромыжник» уступал место «пролетару» с почтительной любезностью. Попросил позволения завезти корректуры «Полярной Звезды» в типографию.

Выглянуло солнце, но под ним – еще пустынное, однообразное; однообразная пустыньность улиц, широких, как площади, с рядами сереньких, низеньких, точно к земле приплюснутых домиков да пожарной каланчой, одиноко кое-где торчащею, и бледно-желтая под бледно-зеленым небом унылая охра казенных домов еще унылее.

Выехали на Невский. От Полицейского моста до Аничкина насажен бульвар из липок по приказу императора Павла в тридцать дней, среди лютой зимы, так что приходилось рубить ямы топорами и разводить в них костры, чтобы оттаять мерзлую землю. Теперь под ледоходным ветром эти чахлые липки, зябко дрожавшие голыми сучьями, похожи были на больных детей, и казалось – никогда не распустятся. Но уже весеннее гулянье началось на бульваре. Проходили военные в треуголках с петушьими перьями, чиновники во фризовых шинелях, купцы в длиннополых сибирках, и у Гостиного двора из карет ливрейные лакеи высаживали дам в русских меховых салопах и парижских ярких, как цветы, весенних шляпках. Проносились барские шестерки цугом с нескончаемым «и-и-и!» – сокращенным «пади!», которое тянули тончайшим дискантом мальчишки-форейторы. На почтовой тележке фельдъегерь скакал сломя голову, и, дребезжа и подпрыгивая по булыжным арбузам, плелись извозчичьи дрожки-гитары, на которых сидели верхом, как на седлах, держа кучера за пояс, а на спине у него болталась жестяная бляха с номером. Перед взводом марширующих солдат играла военная музыка.

И в однообразии движущихся войск, в однообразии белых колонн, на желтых фасадах казенных домов веял дух того, кто сказал: «Я люблю единообразие во всем». Казалось: весь этот город – большая казарма или плац-парад, где под бой барабанов вытянулось все во фронт, затаило дыхание и замерло.

Бестужев что-то говорил Каховскому, но тот не слушал, глядел на толпу и думал: вот никто в этой толпе не знает о нем; но близок час, когда все эти люди, вся Россия, весь мир узнает и содрогнется от ужаса, от величия того, что он совершит.

– Пришлю вам статейку, прочтите...

– Какую статейку?

– Да мою же: «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 года»...

Бестужев говорил о своей статье, о своей лошади, о своей тетушке, о своей цыганке с таким веселым видом, как будто не могло быть сомнения, что это для всех занимательно.

– Впрочем, литература – только ничтожная страничка жизни моей... Я, как Шенье у гильотины, могу сказать, ударяя себя по лбу: «Тут что-то было!» Мое нервное сложение – эолова арфа, на которой играет буря...

Это сказал он однажды о Байроне и потом стал повторять о себе.

Каховский посмотрел на него угрюмо:

– Вы, кажется, хотели говорить со мной о делах?

– Да, да, о делах, как же! Но не совсем удобно, знаете, на улице... Кучер может услышать. За нами очень следят. Я не уверен даже в собственных людях, – прибавил он по-французски. – А вот если бы вы позволили к вам на минутку?..

– Милости просим, – ответил Каховский сухо.

Заехав по дороге в Милютины ряды, Бестужев накупил закусок и шампанского. Каховский не спрашивал зачем: всю дорогу молчал насупившись.

Жил в Коломне, в доме Энгельгардта, в отдельном ветхом, покосившемся деревянном флигеле.

Крутая, темная, пахнувшая кошками и помоями лестница. Бестужев должен был наклониться, снять кивер с белым султаном, чтобы не запачкаться, проходя под сушившимся на веревке кухонным тряпьем. Две старухи, выскочив на лестницу, ругались из-за пропавшей селедки, и одна другой тыкала в лицо ржавым селедочным хвостиком. Тут же из-за двери выглядывала простоволосая нарумяненная, с гитарой в руках, девица, а вдали осипший бас пел излюбленную канцеляристами песенку:

Без тебя, моя Глафира  
Без тебя, как без души  
Никакие царства мира  
Для меня не хороши.

Комната Каховского на самом верху, на антресолях, напоминала чердак. Должно быть, где-то внизу была кузница, потому что оклеенные голубенькой бумажкой, с пятнами сырости, дощатые стенки содрогались иногда от оглушительных ударов молота. На столе, между Плутархом и Титом Ливием во французском переводе XVIII века, стояла тарелка с обглоданной костью и недоеденным соленым огурцом. Вместо кровати – походная койка, офицерская шинель – вместо одеяла, красная подушка без наволочки. На стене – маленькое медное распятие и портрет юного Занда, убийцы русского шпиона Коцебу; под стеклом портрета – засохший, верно, могильный, цветок, лоскуток, смоченный в крови казненного, и надпись рукою Каховского, четыре стиха из пушкинского «Кинжала»:

О, юный праведник, избранник роковой,  
О Занд! твой век угас на плахе;  
Но добродетели святой  
Остался след в казенном прахе.

Войдя в комнату, он сделался еще угрюмее, – должно быть, стыдился своей нищеты. Сел на койку и предложил гостю единственный стул. Оба молчали. Бестужев держал на коленях кулек с вином и закусками, не зная, куда его девать; наконец положил под стол.

– Послушайте, Каховский, – начал он вдруг, торопясь и тоже, видимо, стесняясь, – вам Рылеев ничего не говорил о Думе?

– Ничего.

– Не понимаю, право, что он таится? Такому человеку, как вы, можно бы открыть все... Никакой, впрочем, Думы и нет, вся она – в одном Рылееве.

– А как же Трубецкой, Пущин, Одоевский? – спросил Каховский, притворяясь равнодушным, а на самом деле с жадным любопытством ожидая ответа Бестужева.

– Пешки в руках Рылеева; он берет все на себя и объявляет мнения свои волею диктатора; обманывает всех и себя самого. Революция – точка его помешательства. Недурной человек, но весь в воображении, в мечтах, ну, словом, поэт, сочинитель, как и все мы, грешные. Годится только для заварки каш, а расхлебывать приходится другим...

Помолчал и прибавил:

– Ну так вот, я счел своим долгом вас предостеречь. Ни обманывать, ни в западни ловить я никого не желаю. Пусть он, а я не желаю. Надобно, чтобы всякий знал, что делает и на что идет... Не говорил ли он вам, что царевубийство не должно быть связано с обществом?

– Говорил.

– Ну так в этом вся штука. Он готовится вас быть ножом в его руках: нанесет удар и сломает нож. Вы – лицо отверженное, низкое орудие убийства, жертва обреченная... Впрочем, все эти Невидимые Братья...

– Он из них?

– Из них. Ну так эти господа, говорю я, все таковы: чужими руками жар загребают... Так же вот и с вами; кровь падет на вашу голову, а они умоют руки и вас же первые выдадут. Якубовича – того берегут для украшения общества: кавказский герой. Ну а вы... Рылеев полагает, что Вы у него на жалованье – деньги берете... наемный убийца...

– Я... я... Рылеев... деньги... не может быть! – пролепетал Каховский, бледнея.

– Да неужто вы сами не видите? А я-то, признаться, думал, – начал Бестужев, но не кончил, взглянув на собеседника. Тот закрыл лицо руками и долго сидел так, не двигаясь, молча. Снизу доносились удары кузнечного молота, и ему казалось, что это удары его собственного сердца. Вдруг вскочил, с горящими глазами, с перекошенным от ярости лицом.

– Если я нож в руках его, то он же сам об этот нож уколется! Скажите это ему...

Схватился за голову и забегал по комнате.

– Я чести моей не продам так дешево! Никому не лягу ступенькой под ноги... Я им всем, всем... О, мерзавцы! мерзавцы! мерзавцы!

Опять в изнеможении опустился на койку.

– Что же это такое, Бестужев?.. А я-то верил, дурак... не видел преступления для блага общего, думал – добро для добра, без возмездия... пока не остановится биение сердца моего, – отечество дороже мне всех благ земных и самого неба...

Отчаянно взмахнул руками над головой, как утопающий.

– Отдал все – и жизнь, и счастье, и совесть, и честь... А они... Господи, Господи!.. Не за себя оскорблен я, Бестужев, пойми же, а за все человечество... Какая низость, какая грязь – в человеке, сыне небес!

Говорил напыщенно, книжно, как будто фальшиво, а на самом деле искренно.

Бестужев развязал кулек, вынул вино и закуски; вертя в руках бутылку, искал глазами штопора. Не нашел; отбил горлышко, налил в пивной стакан и в глиняную кружку с умывальника.

– Ну полно, мой милый, полно, – сказал, потрепав его по плечу уже с развязностью. – Даст Бог, перемелется – мука будет... А вот лучше подумаем вместе, что делать... Да выпьем-ка сначала, это прочищает мысли.

Выпил, подумал и снова налил.

– А знаете что? – проговорил так, как будто это пришло ему в голову только что. – Уничтожить бы общество да начать все сызнова; вы будете главным директором, а я вам людей подберу. Хотите?

Не создать новое, а уничтожить старое – такова была его тайная мысль; и так же, как Рылеев, думал он сделать Каховского своим орудием. Но тот ничего не понимал и почти не слушал.

– Нет, зачем? Не надо, – сказал, махнув рукою. – Никого не надо. Я один. Если нет никого, нет общества – я один за всех. Пойду и совершу. Так надо... Все равно, будь что будет. Теперь уже никто не остановит меня. Так надо, надо... я знаю... я один...

Говорил как в бреду; пил с жадностью стакан за стаканом; с непривычки быстро хмелел. Бестужев предложил ему выпить на ты. Выпили, поцеловались; еще выпили, еще поцеловались.

– Знаешь, Бестужев, – вдруг начал Каховский, уже без гнева, с неожиданно ясной и кроткой улыбкой. – Может быть, и к лучшему все? Я сирота в этом мире. Ни друзей, ни родных. Всегда один. От самого рождения печать рока на мне. Обреченный, отверженный... Ну что ж? Видно, быть так. Один, один за всех! Не нужно мне ничего – ни счастья, ни славы, ни даже свободы. Я и в цепях буду вечно свободен. Силен и свободен тот, кто познал в себе силу человечества! Умереть на плахе или в самую минуту блаженства – не все ли равно? О, если бы ты знал, Александр, какая радость в душе моей, какое спокойствие, когда я это чувствую, как вот сейчас!

«Эк его, Шиллера, куда занесло!» – думал Бестужев с досадою. Понял, что делового разговора не будет; поплачет, подуется, а кончит все-таки тем, что вернется к Рылееву: сам черт, видно, связал их веревочкой.

Долго еще беседовали, но уже почти не слушали друг друга и не замечали, что говорят о разном.

– Без женщин, тот cher, не стоило бы жить на свете! – воскликнул Бестужев после второй бутылки, а после третьей выразил желание «потонуть в пламени любви и землекрушения». После четвертой Каховский рассказывал, как рвал цветы и плакал на могиле Занда, а Бестужев восклицал, подражая Наполеону-Якубовичу: «Моя душа из гранита – ее не разрушит и молния». И уже слегка заплетающимся языком продолжал рассказывать о своих любовных победах:

– На постоях у польских панов волочились мы за красавицами. Что за жизнь! Пьянствуем и отрезвляемся шампанским. *Vogue la galore!*<sup>2</sup> Цимбалы гремят, девки пляшут. Чудо! Да ты, Петька, монах, мизантроп? Еще, пожалуй, осудишь?.. Но что же делать, брат? Натура меня одарила не кровью, а лавой огнедышащей. Бешеная страсть моя женщин палит, как соломю. Поверишь ли, в Черных Грязях дамы чуть не изнасиловали. Стоило свистнуть, чтоб иметь целую дюжину... Я, впрочем, всегда презирал то, что называется светом, потому что давно знаю, как легко его озадачить; я не создан для света; сердце мое – океан, задавленный тяжелой мглой...

Бестужев говорил еще долго. Но Каховский опять замолчал и нахохлился: чувствовал, что слишком много выпито и сказано; мутило его не то от вина, не то от речей нового друга; казалось, что это от них, а не от лимбургского сыра такой скверный запах.

Бестужев вспомнил наконец о своей тетушке-именинице.

– Еще, пожалуй, рассердится, старая ведьма, если не приду поздравить, а сердить ее нельзя: к моему старикашке имеет протекцийку...

Старикашка был герцог Виртенбергский, у которого он служил во флигель-адъютантах.

– А старая ведьма с протекцийкой иной раз лучше молоденьких? – усмехнулся Каховский уже с нескрываемой брезгливостью, но Бестужев не заметил.

---

<sup>2</sup> Была не была! (*фр.*).

– Протекцией, mon cher, ни в каком случае брезгать не следует; это и у нас в правилах тайного общества...

Полез целоваться на прощание.

«И как я мог открыть сердце этому шалопаю?» – подумал Каховский с отвращением.

Когда гость ушел, открыл форточку и выбросил недоеденный лимбургский сыр. Смотрел в окно через забор на знакомые лавочные вывески: «Продажа разных мук», «Портной Иван Доброхотов из иностранцев». Со двора доносились унылые крики разносчиков:

– Халат! Халат!

– Точи, точи ножики!

А внизу, на лестнице – гитара:

Без тебя, моя Глафира,  
Без тебя как без души...

И опять:

– Точи, точи ножики!

– Халат! Халат!

Отошел от окна и повалился на койку; голова кружилась; кузнечные молоты стучали в висках; тошнота – тоска смертная. Вся жизнь как скверно пахнувший лимбургский сыр.

Достал из-под койки ящик, вынул из него пару пистолетов, дорогих, английских, новейшей системы – единственную роскошь нищенского хозяйства, – осмотрел их, вытер замшевой тряпочкой. Зарядил, взвел курок и приложил дуло к виску; чистый холод стали был отраден, как холод воды, смывающей с тела знойную пыль.

Опять уложил пистолеты, надел плащ-альмавиву, взял ящик, спустился по лестнице, вышел на двор; проходя мимо ребятишек, игравших у дворницкой в свайку, кликнул одного из них, своего тезку, Петьку. Тот побежал за ним охотно, будто знал, куда и зачем. Двор кончался дровяным складом; за ним – огороды, пустыри и заброшенный кирпичный сарай.

Вошли в него и заперли дверь на ключ. На полу стояли корзины с пустыми бутылками. Каховский положил доску двумя концами на две сложенные из кирпичей горки, поставил на доску тринадцать бутылок в ряд, вынул пистолеты, прицелился, выстрелил и попал так метко, что разбил вдребезги одну бутылку крайнюю, не задев соседней в ряду; потом вторую, третью, четвертую – и так все тринадцать по очереди. Пока он стрелял, Петька заряжал, и выстрелы следовали один за другим почти без перерыва.

Прошептал после первой бутылки:

– Александр Павлович.

После второй:

– Константин Павлович.

После третьей:

– Михаил Павлович.

И так – все имена по порядку...

Дойдя до императрицы Елизаветы Алексеевны, прицелился, но не выстрелил, опустил пистолет – задумался.

Вспомнил, как однажды встретил ее на улице: коляска ехала шагом; он один шел по пустынной Дворцовой набережной и увидел государыню почти лицом к лицу; не ожидая поклона, первая склонила она усталым и привычным движением свою прекрасную голову с бледным лицом под черную вуалью. Как это бывает иногда в таких мимолетных встречах незнакомых людей, быстрый взгляд, которым они обменялись, был ясновидящим. «Какие жалкие глаза!» – подумал он, и вдруг почудилось ему, что почти то же, почти теми же сло-

вами и она подумала о нем: как будто две судьбы стремились от вечности, чтобы соприкоснуться в одном этом взгляде, мгновенном, как молния, и потом разойтись опять в вечности.

Не тронув «Елизаветы Алексеевны», он выстрелил в следующую по очереди бутылку.

Когда расстрелял все тринадцать, кроме одной, поставил новые. И опять:

– Александр Павлович.

– Константин Павлович.

– Михаил Павлович...

Стекла сыпались на пол с певучими звонами, веселыми, как детский смех. В белом дыму, освещаемом красными огнями выстрелов, черный, длинный, тощий, он был похож на привидение.

И маленькому Петьке весело было смотреть, как Петька большой метко попадает в цель – ни разу не промахнется. На лицах обоих – одна и та же улыбка.

И долго еще длилась эта невинная забава – бутылочный расстрел.

## Глава третья

Столько народу ходило к Рылееву, что наконец в передней колокольчик оборвали. Пока мастер починит, расторопный казачок Филька кое-как связал веревочкой. «Не беда, если кто и не дозвонится: за пустяками лезут!» – ворчал хозяин, усталый от посещений и больной: простудился, должно быть, на ледоходе.

Однажды в конце апреля, просидев за работой до вечера в правлении Русско-Американской компании, вспомнил, что забыл дома нужные бумаги. Правление помещалось на той же лестнице, где он жил, только спуститься два этажа. Сошел вниз, отпер, не звоня, входную дверь ключом, который всегда имел при себе. Филька спал на сундуке в прихожей.

Не запирая двери, хозяин прошел в кабинет, отыскал синюю папку с надписью «Колония Росс в Калифорнии» и хотел вернуться в правление. Но, проходя через столовую, услышал голоса в гостиной. Удивился; думал, что никого дома нет: жена давеча вышла; Глафира собиралась с нею. Кто же это? Подошел к неплотно запертой двери, прислушался: Якубович с Глафирую.

Давно уже Рылеев замечал их любовные шашни. Просил жену спровадить гостью от греха домой, в чухломскую усадьбу к тетенькам. Якубович не жених, а осрамить девушку ему нипочем. На то и роковой человек. Еще недавно была у Рылеева дуэль из-за другой жениной родственницы, тоже обманутой девушки. Неужто ему снова драться из-за дурищи Глафирки?

– Я – как обломок кораблекрушения, выброшенный бурей на пустынный берег, – говорил Якубович. – Ах, для чего убийственный свинец на горах Кавказских не пресек моего бытия... Что оно? Павший лист между осенними листьями, флаг тонущего корабля, который на минуту веет над бездною...

– Любящее сердце спасет вас, – томно ворковала Глашенька.

– Нет, не спасет! – простонал Якубович. – Душа моя как океан, задавленный тяжелой мглой...

Рылеев удивился: вспомнилось, что эти самые слова об океане говорил и Бестужев. Кто же у кого заимствовал?

Слова замерли в страстном шепоте; послышался девственный крик:

– Ах, что вы, что вы, Александр Иванович! Оставьте, не надо, ради Бога...

Рылеев отворил дверь и увидел Глашеньку в объятьях Якубовича; по тому, как он ее целовал, ясно было, что это уже не в первый раз.

Глафира взвизгнула, хотела упасть в обморок, но так как не шутя боялась братца, – так называла она Рылеева, – предпочла убежать в кухню и там спрятаться в чулан, как пойманная с кадетом шестнадцатилетняя девочка.

Рылеев взял Якубовича за руку и повел в столовую.

– Ну что ж, поздравляю. Честным пирком да за свадебку?

Якубович молчал.

– Отвечайте же, сударь, извольте объяснить ваши намерения...

– Я, видишь ли, друг мой, почел бы, разумеется, за счастье... Но ты знаешь мои обстоятельства: не могу я жениться, не вправе связать жизнь молодого существа...

– А вправе обесчестить?

– Послушай, Рылеев, кажется, Глафира Никитична не маленькая...

– Еще бы маленькая! Старая девка. Но пока она в моем доме, я никому не позволю...

– Да что ты горячишься, помилуй? У нас ведь ничего и не было...

Если бы случилось это на Кавказе, Якубович принял бы вызов; у него была храбрость тщеславия, и он стрелял превосходно, а Рылеев плохо; но здесь, в Петербурге, на виду госу-

даря, поединок грозил новой ссылкой, окончательным расстройством карьеры, а может быть, и раскрытием тайного общества – и тогда неминуемой гибелью.

– Ты знаешь, душа моя, я не трус и всегда готов обменяться пулями – но на тебя рука не подымется. Да и не за что, право...

– А, так ты вот как, подлец! – закричал Рылеев, и вихор поднялся на затылке его, угрожающий, как бывало в корпусе, перед дракою. – Так не будешь, не будешь драться?..

Еще в начале разговора послышался в прихожей звонок; потом второй, третий, четвертый, – все время звонили; испорченный колокольчик дребезжал слабо и, наконец, в последний раз глухо звякнув, совсем умолк: верно, опять оборвался.

«Э, черт! Кого еще принесла нелегкая? А Филька, подлец, дрыхнет», – думал Рылеев полусознательно, и это усиливало бешенство его.

– Так не будешь, не будешь?.. – наступал на противника, бледнея и сжимая кулаки.

Росту был небольшого и довольно хил; Якубович перед ним силач и великан. Но в тонких, сжатых, побледневших губах Рылеева, в горящих глазах и даже в мальчишеском вихре на затылке что-то было такое неистовое, что Якубович потихоньку пятился; и если бы в эту минуту Рылеев взгляделся в него, то, может быть, понял бы, что «храбрый кавказец» не так храбр, как это кажется.

– Кондратий Федорович Рылеев? – произнес чей-то голос.

Тот обернулся и увидел незнакомого молодого человека в армейском темно-зеленом мундире с высоким красным воротником и штаб-офицерскими погонами.

– Прошу извинить, господа, – проговорил вошедший, поглядывая с недоумением то на Рылеева, то на Якубовича, – не дозвонился: должно быть, испорчен звонок, дверь отперта...

– Что вам, сударь, угодно? – крикнул хозяин.

– Позвольте представиться, – продолжал гость с едва заметной усмешкой, – полковник Павел Иванович Пестель.

– Пестель! Павел Иванович! – бросился к нему навстречу Рылеев, и лицо его просветлело с тем внезапным переходом от одного чувства к другому, который был ему свойствен.

– Прошу вас, господа, не стесняйтесь. Я в другой раз... – начал было Пестель.

– Нет, что вы, что вы, Павел Иванович! Милости просим, – засуетился Рылеев, пожимая ему руки и отнимая шляпу; о Якубовиче забыл. Тот прошмыгнул мимо них в прихожую, торопливо оделся и выбежал.

Хозяин повел гостя в кабинет, продолжая суетиться с преувеличенной любезностью.

– Не угодно ли трубочку?

– Спасибо, не курю.

– Ну слава богу, наконец-то залучили вас! – опять засуетился Рылеев, сбиваясь и путаясь. – А я уж, признаться, думал, что так и уедете, не повидавшись.

– За мною следят, надо было выждать, – заговорил Пестель чистым русским говором, но слишком правильно, отчетливо, и в этом виден был немец. – Я приехал с генералом Киселевым, начальником штаба. Государь обо мне спрашивал. Надо быть весьма осторожным... А это кто у вас?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.